



Т. КАИПБЕРГЕНОВ

**ДОЧЬ  
КАРАКАЛПАКА**

к 15

Кашперцев

Туленин

Долг

каракалпак

051к

N 888



**ИЗДАТЕЛЬСТВО  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА  
ИМЕНИ ГАФУРА ГУЛЯМА  
ТАШКЕНТ — 1971**



Библиотека  
ГЕНТУ МА 24  
1914

Б.о.

Т. КАИПБЕРГЕНОВ

# ДОЧЬ КАРАКАЛПАКА

РОМАН

КНИГА ВТОРАЯ

Перевод с каракалпакского  
Г. МАРЬЯНОВСКОГО

~~Yashnubod Qurilish kasb-hunar kolleji  
Axborot-resurs markazi  
№ 23815~~

~~Hamza Qurilish kasb-hunar kolleji  
Axborot-resurs markazi  
№ 17723771~~

№ 4936  
SHAHAR YASHNOBOD TUMANI  
Axborot-resurs markazi



Более пятидесяти писем со всех концов нашей страны пришло в адрес издательства после выхода первой книги романа Т. Каилбергенова «Дочь каракалпака» в русском переводе Г. Марьяновского. В каждом из этих писем содержался вопрос, когда выйдет вторая книга, какова дальнейшая судьба Джумагуль и других героев романа?

Настоящим изданием мы отвечаем на вопросы ваших читателей.





1

Много веков стоит на земле каракалпакской тихий оул Мангит. Даже древние старцы, у которых бороды белее снега, а лица, будто кожа варапа, даже они — память и мудрость народа — не упомянут того далекого дня, когда, повинуясь воле аллаха, пришел сюда первый мужчина и, сотворив благодарственную молитву, поставил среди степи первую юрту. Давно это было. Может быть, тысячу, а может, тысячу тысяч лун назад. Однако со дня своего сотворения не знал еще Мангит таких беспокойных, сумятных времен, какие пришли к нему ныне. Бывали песчаные бури, с корнем рвавшие вековые деревья. Словно могиль-

Более пятидесяти писем со всех концов нашей страны пришло в адрес издательства после выхода первой книги романа Т. Каилбергенова «Дочь каракалпака» в русском переводе Г. Марьяновского. В каждом из этих писем содержался вопрос, когда выйдет вторая книга, какова дальнейшая судьба Джумагуль и других героев романа?

Настоящим изданием мы отвечаем на вопросы наших читателей.



1

Много веков стоит на земле каракалпакской тихий аул Мангит. Даже древние старцы, у которых бороды белее снега, а лица, будто кожа варана, даже они — память и мудрость народа — не упомнят того далекого дня, когда, повинаясь воле аллаха, пришел сюда первый мужчина и, сотворив благодарственную молитву, поставил среди степи первую юрту. Давно это было. Может быть, тысячу, а может, тысячу тысяч лун назад. Однако со дня своего сотворения не знал еще Мангит таких беспокойных, сумятных времен, какие пришли к нему ныне. Бывали песчаные бури, с корнем рвавшие вековые деревья. Словно могиль-

ные курганы, немые и грозные, наступали на аул черные тени барханов. Случалось, злые пришельцы грабили трудами нажитое добро, жгли юрты, угоняли скот. Но того, что сейчас, никогда не бывало — ни сто, ни тысячу лет назад. В этом мог бы поклясться своей белой, как снег, бородой любой из почтенных старцев аула. Кто же помнит такое, чтоб у знатного бая силой отбирали земли и, не опасаясь гнева аллаха, делили их между бесправными бедняками! В какую пальную голову пришла бы мысль поносить привселюдно посетителя веры — муллу Мамбета, обличать его в обмане и бесчестии! Где видано было такое, чтоб женщина противилась воле мужчины, сама выбирала себе цель и дорогу, в богопротивном приюте обучалась грамоте! Нет, даже вечное небо, что висит над Мангитом, дивится этим новым, непривычным порядкам.

Но человек не вечен, как небо, и, верно, потому раньше перестает дивиться, скорее привыкает ко всем переменам. Вот и теперь убеленные сединами старцы стоят посреди широкой многолюдной площади спокойные, надменно важные, будто не впервой наблюдать им все то, что происходит сегодня в ауле.

А происходит сегодня в Мангите событие небывалое, переворотное: батраки и поденщики, кустари и мелкие торговцы, те, кто отроду лишен был и власти, и права, выбирают себе аксакала — председателя сельсовета, как по-новому его теперь величают.

Народу на площади — не протолкаться. Здесь и жители северного аула, где властвует бай Атаджан, и беднота с восточной окраины, и женщины, которых не могли удержать в доме ни увещевания, ни самые страшные угрозы, и, конечно же, дети. Чтоб получше разглядеть все, что происходит вокруг, они забрались на плоские крыши кибиток, взгромоздились на дувалы, гроздьями повисли на голых ветках деревьев. Февральский мороз окрасил багрянцем их щеки, исколол посиневшие уши. Но, презрев мороз, не обращая внимания на окрики сердобольных бабок и брать матерей, юные зрители остаются на своих местах, отвоеванных в жестокой борьбе со сверстниками. Горящие любопытством детские взгляды устремлены к центру площади, туда, где, стиснутая со всех сторон шумной, клокочущей толпой, стоит высокая двухколесная арба. На ней, свесив ноги, расположился безусый мужчина в козьего меха шанке-ушанке. В руках у него свернутая в трубку

тому коридору, миновал арбу и с самым непринужденным видом пристроился между Ембергеновым и Курбанниязовым.

— Недисциплинированный народ, — укоризненно произнес он и, будто ища сочувствия, повернулся к Курбанниязову: — Шатания!

Ембергенов бросил недовольный взгляд.

— Не шатания, а классовая борьба! Это понимать нужно! — И, заподозрив что-то неладное, спросил недоброжелательно: — Голосовали?

Дуйсенбай оскорбился:

— Что ж это я, несознательный какой или гидра? Я для Советской власти, знаете, жизни не пожалею!

— Чьей?

— А? — оторопел Дуйсенбай.

— Чьей жизни, говорю, не пожалеете? — повторил Ембергенов.

Дуйсенбай отвернулся, демонстрируя оскорбленную женственность.

Два часа, до вечерних сумерек, шел народ мимо арбы. Люди замерли и изголодались, но никто не покинул площади — ждали результатов.

Кто-то тронул Джумагуль за плечо. Обернулась. Дюжая баба с раскосыми глазами, приплюснутым крохотным носом, будто утонувшим между пухлыми буграми щек, нависла над ней, шепнула таинственно:

— Слышь, мой-то хворым прикинулся — и-ти не хочет.

— Почему?

— Видать, боязно. Был бы один аксакал — оно просто. А ну как к этим приткнешься, а те одолеют? Потом бокком вылезет.

— Это кто же такой смелый? — спросила Джумагуль.

— Моего не знаешь? — удивилась женщина, но, верная обычаю, имени мужа вслух произнести не решилась. — Ну-ка, ты, шустрая, скажи ей, кто он, отец наш родимый! — приказала она стоявшей рядом рослой девушке.

— Наш пана — Калый, — нестройным хором ответили семь детских голосов. — А маму зовут Айзада.

Только тут заметила Джумагуль, что за женщиной тянется целая вереница детских голов.

— Это все ваши?



— Сама по упомяю. Мой-то — мужичонка блудливый. Может, и нагулял где две-три штуки. Девочки все, — рассмеялась Айзада, и Джумагуль сразу припомнила тщедушного, низкорослого батрака с непомерно крупной, будто с чужих плеч, головой. Увидишь их вместе, рослую Айзаду и малютку Калия, не захочешь — улыбнешься им вслед. А потом, говорят, за каждую такую улыбку Калий платил Айзаде тумаком. Только что ей, здоровенной кобылице, комариный укус!

— Так, думаешь, притворяется, не хочет идти? — переспросила Джумагуль.

— Это точно. Не с чаю же скрутило его. А больше в доме есть нечего.

— Тогда вот что, — разволновалась, взяла ее за руку Джумагуль. — Иди сама. Сама выбирать будешь.

— Да вроде жепнице.. как бы не завернули, — замилась Айзада.

— Не завернут! Иди, иди смело.

— Э, в доме, где нет собак, кошкам приходится лаять! — отчаянно махнула рукой Айзада. — Ну-ка, дети гарема! Держись друг за дружку! Пошли!

И пошли. Впереди, рассекая толпу, шествовала Айзада. За ней, стыдливо опустив голову, не глядя по сторонам, шла Нурзада, старшая дочь. Затем дочь поменьше. Замыкала процессию черноглазая кроха, едва переставлявшая тонкие кривые ножки.

Мужчины расступились, — одни, добродушно посмеиваясь, другие, призывая на голову грешницы и всего ее выводка самые страшные кэры. Кто-то из гущи толпы пивырнул в женщину камень. Айзада остановилась, подложила широкую ладонь на голову младшей.

— Плюнь на того дядю, маленькая. Ну, плюнь на него!

Толпа разразилась смехом и ролотом. Айзада повернулась, сквозь живой коридор направилась к высокой арбе, вышла на свободную площадь. Взявшись за руки, девочки послушно следовали за ней. Но тут, оказавшись меж двух лагерей, каждый из которых орал десятками голосов: «К нам, красавица! Давай к нам!» — девочки растерялись. Одни потянули вправо, другие влево. Толпа ликовала:

— Считайте за нас!

— Ходжапнязу плюсуйте!

— Бабу за двоих! Никак не плачет!

Наконец, строго цыкнув на девчат, Айзада собрала их вместе, выстроила гуськом и важной верблюдицей пошла в сторону приверженцев Туребая.

Уже было темно, когда к арбе подошел высокий шлепчатый джигит. Джумагуль узнала его сразу, хотя со времени последней встречи минуло уже три года — три года, которые, мишлось, целой вечностью отгородили ее от всего прошлого. И то, что Турумбет за это время не переменялся — ни лицом, ни походкой, ни статью, — показалось ей страшным и непонятым. Она разглядывала это со спокойным безразличием, не испытывая боли или сожаления, влечения или ненависти. Холодным взглядом она следила за тем, как Турумбет поклонился Дуйсенбаю, отошел в левую сторону и смешался с толпой.

Результаты выборов были объявлены в полночь: аксакалом Мангита стал Туребай.

С песнями и веселыми шутками расходился народ по домам. В юртах зажигались огни, у теплых очагов продолжалось обсуждение событий истекшего дня.

Несмотря на поздний час, Маджитов, Курбаниязов и Гмберенов ускакали в Чимбай — нужно было готовиться к проведению выборов в других аулах.

В юрту Туребая набилось столько народу, не то что сидеть — стоять негде. А люди идут и идут. Сначала поздравляли новую власть, трясли Туребая, незлобиво шутили. Затем начался разговор деловой и серьезный — с чего начинать, о чем первые заботы.

Оставив мужчин, Багдадуль ушла в кибитку Санем, где женщины во всех подробностях выспрашивали Джумагуль о городском житье, вспоминали подруг, которые вслед за ней бежали в город. Счастливая Санем ходила вокруг дочери — то погладит по голове, то поднесет кибитку горячего чая. А рядом с Джумагуль, заглядывая ей в глаза, примостилась Айкыз. Вчера, после трех лет разлуки, она увидела свою мать, и сердце девочки пляшет от радости.

— Мама, а мама, — ластится Айкыз, — а ты оиять уедешь от нас? Не уезжай, мама. Не пужно.

— Вместе поедем.

— И бабушка тоже? — всплеснула Айкыз пухлыми ручонками.

— Как же иначе?



Вскоре девочку уложили спать. Она долго барахталась в постели, и, чтобы не мешать ей заснуть, взрослые говорили вполголоса. Багдадуль вспоминала:

— Портной, тот сапогами топтал свою дочь, когда поймали вас в лодке. Думали, Дуйсенбай совсем замордует. А он — нет. Бибигуль потом потешалась: «Швырнул, говорит, меня в дом так, что чуть, говорит, другую стенку не выплибла. Сперва это я, говорит, вроде бы влипла вся в эту стенку, а потом квашней распылась на полу. Лежу, подружки мои, глаза закрыла, с белым светом прощаюсь: ну, думаю, все: кончились дни золотые! А он, мой Дуйсенбай пенаглядный, чего-то все медлит — не бьет, не кричит, только, слышу, сопит все громче. Странное дело! Потихонечку это так открываю я один глаз, гляжу — ба! — муженек-то мой горючей слезой заливается!.. Ах так, соображаю я тогда, ну, погоди ж, устрою я тебе большой праздник! Да как, подруженьки мои, разрыдаюсь, как забьюсь золотой рыбкой в сетях! Вот, ей-богу, верьте — не верьте, саму себя жалко стало! Гляжу, подползает ко мне мой любезный, ладонью шершавой спину мне трет, а сам — тю-тю-тю, сю-сю-сю, прости меня, молит, не сердчай на меня, голубушка. А я от него лицо ворочу, уши руками затыкаю: нет, и все тут! Не прощу! Уж чего он не насулил мне тогда: и серьги бриллиантовые, и платья атласные, и сапожки шевровые...»

Женщины рассмеялись: будто живую Бибигуль увидели в рассказе жены Туребая — и голос, и жест, и этот озорной с лукавинкой взгляд — ну все в точности!

— А она все одно убежала, — закончила Багдадуль. — И серьги бриллиантовые с собой прихватила.

— Мы на эти серьги все общежитие оборудовали: кровати кушили, столы, стулья, даже простыни, — объяснила Джумагуль. — Себе она что? Только зонтик у какой-то старой барыни на турткульском базаре выторговала. Жаль — не открывается.

— Это что же за вещь такая, зонтик? — заинтересовалась Сапем.

— Крыша такая матерчатая. Когда дождь над головой носишь, когда сухо — в носох складывается.

— Ишь ты, до чего не додумаются умные люди! — восхищенно поцокала языком Сапем. — А Бибигуль он за чем?

— Интересно.

Некоторое время женщины хранили молчание. Наконец, нарушив тишину, Багдадуль спросила:

— А этот, Абди, сам решил украсть Бибигуль или ты подсказала?

— Вместе думали. Больше всех помогла Иванова, она как мать нам родная. Наказала Абди: «Бибигуль — это дело твое, личное, а без дочери портного чтоб не возвращался — общественное поручение!»

— Он обоих как раз и увел. Я еще тогда им коня доставала, — чтобы как-то напомнить собравшимся о своих забытых заслугах, вставила женщина с рябым безбровым лицом.

Отвечая на вопросы Джумагуль, соседки еще долго выкладывали перед ней большие и малые аульские новости. У кого кто родился и кому посчастливилось замуж выйти. О кознях Дуйсенбая и неистощимой сплетнице Гульбике, о Турумбете, который снова уходил на заработки и пропал всю осень. Узнала Джумагуль и о том, что в прошлом году на одной неделе умерли родители Айтбая. Много услышала она в этот вечер — радостного и настораживающего, смешного и скорбного.

Утром следующего дня Санем складывала и увязывала свое имущество. Айкыз неотступно следовала за матерью, засыная ее бесчисленными вопросами, хваталась за юбку, поровила забраться на руки. Уже была сложена в сундук вся одежда, стянута в узел постель, когда на пороге, запыхавшаяся от волнения и от быстрой ходьбы, появилась Бибиайым.

— Доченька! — бросилась она обнимать Джумагуль. — Боялась, не застапу уже... Не пускает к тебе этот изверг. Криком кричу — не пускает... Вот, вырвалась-таки, прибежала... Ну, скажи, как она там, моя девочка? Не хворает? — И жена Танирбергена со страхом и надеждой заглянула в глаза Джумагуль. — Хорошо ей там? Или, может, вернется? Если что, пускай приезжает — я упрошу, я вымолю у отца прощение. Так и передай моей горлицке...

— Зачем же ей возвращаться? — успокаивающе улыбнулась Джумагуль. — Ей хорошо там — учится, с девушками дружит.

— Слава аллаху, слава аллаху! — шептали старческие губы. — Ты передай ей вот это. Скажешь, гостинец, от матери. Ладно? Ты не забудь. — Бибиайым поспешно достала

из-под полы изобльзгой сверток. — А я побегу, а то кипит-се... Ох, за что мне такое горе!

После полудня Джумагуль пошла погулять. Хотелось пройтись по улицам, с которыми связано столько воспоминаний, взглянуть на юрту, откуда, словно шелудивого пса, ее гнали в зимнюю стужу, спуститься к каналу, где однажды должна была оборваться ее горькая, беспросветная жизнь.

Все оставалось по-прежнему: и скособочившаяся юрта Турумбета, и хауз под развесистой чкнарсй, и тропа, ухившая к крутому берегу Кегейли. Только высокий дом Дуйсеибая показался ей каким-то пустым и забытым.

Постояв над каналом, закованным в твердый, звенящий лед, Джумагуль двинулась в сторону кладбища.

Чья-то заботливая рука возвела над могилой Айтбая глиняное надгробье. На западной стороне его выцарапана звезда.

Здесь, на этом месте, кончилась для Джумагуль одна жизнь и началась другая. Джумагуль молча поклонилась могиле.

Серые, клубящиеся облака нависли над выбеленной землей. Одинокий куст в ужасе растопырил почерневшие от мороза прутья. Будто тонкой иглой, пропизал тишину далекий, едва различимый звон.

Джумагуль еще раз прощально поклонилась могиле, в глубокой задумчивости побрела в аул...

Утомленные дневными заботами и предотъездными хлопотами, Санем и Джумагуль рано легли спать. А утром, когда чахлое зимнее солнце высветило запорошенный тракт и разогнало лютую ночную стужу, из аула выехала скрипучая двухколесная арба. Укутавшись по самые глаза в теплые одеяла, на настиле арбы сидели две женщины и ребенок. В седле, пощелкивая по оглобле камчой, раскачивался Туребай.

## 2

Никогда не думал Туребай, что стоять у власти — такое нелегкое дело. Целыми днями, от восхода до заката, шли к нему люди со своими просьбами, жалобами, претензиями, наставлениями. Шли почтенные старики и обиженные мужьями молодые жены, шли соседи, с которыми

знаком уже много лет, и почти совсем незнакомые джигиты с северной части аула.

«Хлеба в доме не осталось ни крохи. Детишки с голоду пухнут. Помоги, аксакал, не то до весны не доживем, — жаловалась, утирая слезы, тощая вдова. «Как же это оно у тебя получается, Советская власть? У него сколько ртов, у Сабира? Пять! А у меня сколько? Семь! Отчего ж ему столько и мне столько земли отрезали? Где ж она, справедливость, спрашиваю я тебя?!» — кричал, выкатив налитые кровью глаза, джигит в рваном халате. И не успевала еще закрыться за ним дверь, как появлялся новый посетитель: «Ну, было — брал я у него займы. Так я ж потом весь долг горбом своим отработал. Чего еще я должен ему отдавать? Рассуди ты нас по совести, аксакал, прояви мудрость!»

Да, легко слыть добрым, мудрым и справедливым, пока власть у другого. Можешь осуждать его или над ним потешаться, поносить или требовать перемен — замечательных перемен, осуществлению которых препятствует лишь самая пустая малость — отсутствие возможностей. Другое дело, когда сам становишься властью... Разве отказал бы Туребай в помощи бедной вдове, не выдал бы меры зерна? А из чего выделять, когда общего фонда нет, а у самого меньше пуда всего и осталось? Попробуй тут быть добрым!.. Или с тем крикуном, что прибавки надела требует... Правда: и ему, и Сабиру равные участки выделили, а на хлебников у жалобщика побольше — тоже ведь правда. Однако у Сабира по двору только голодная собака бегает, а у жалобщика — две коровы, да конь, да три бараца. И это учитывать надобно. Обделили участком жалобщика? Верно. И прибавить бы ему не грех. А где возьмешь, когда земли в ауле свободной не осталось? Вот она тебе и справедливость...

Совсем закрутился Туребай во всех этих жалобах, просьбах, требованиях, претензиях. Третьего дня, повстречавшись на улице, Ходжанияз сказал ему весело:

— Мудрость властителя, в чем она, брат, состоит? Старайся не старайся — всем не угодишь, всегда недовольные будут. А раз так, что же тут делать? Смыслишь? Скажу. Всем, понятное дело, угодить нельзя, одному — можно. Вот и угождай себе самому. На то человеку власть и дается. А чтоб не отняли ее у тебя, выбери себе близких людей и сделай их очень довольными, чтобы щитом тебе



были. Понятно? Боишься, недовольные будут? Так тут ничего не поделаешь: все одно они будут, и так будут, и этак, старайся не старайся. Выбрали б меня аксакалом, я бы тебя научил.

Шутил ли по своему обыкновению Ходжанияз, говорил ли всерьез, Туребай разобрать не сумел. Да и на что ему в том разбираться — не для него этот мудрый совет. Ему для себя ничего не надо.

Уже которую ночь не спит Туребай — думает свою нелегкую думу: как вдове голодной помочь, кто тут прав в жестком споре соседей, где зерно для посевов достать? Голова гудит от этих дум, а просьб и жалоб с каждым днем все больше. В прежние времена с любой ерундой не побежишь к аксакалу — важная особа. А тут Туребай — свой человек, к нему можно. Я выбирал — пусть для меня и старается.

«Нет, так дела не пойдут! Растащат меня всего по мелочам, как муравьи таракана, — решил однажды Туребай. — Нужно в город поехать, с умными людьми посоветоваться».

На следующий день запряг свою тощую кобылу, попрощался с жепой и — в Чимбай. Добрался чуть не к вечеру. Да не беда: знакомых у него здесь теперь много, есть у кого и започевать при нужде.

Первым делом подался Туребай в исполком. Зашел — в глазах потемнело: народу, что на базаре в праздничный день. Одни в коридоре с ноги на ногу, будто застоявшийся конь, переминаются. Другие из комнаты в комнату шастают: заходит мужчиной, через минуту, глядь, женщиной оборачивается — потешно!

Протиснулся Туребай к дверям председательской комнаты, взялся за ручку, а тут кто-то сзади за плечо его — хватать. Оглянулся — девушка такая хорошая.

— Нельзя, — говорит. — У товарища председателя совещание.

Совещание так совещание. Можно и подождать.

Ждать пришлось долго. Из-за дверей доносились до Туребая обрывки фраз, горячие возгласы, скрип отодвигаемых стульев. Чаще других повторялись слова «басмачи», «контрудар», «поддержка из-за границы».

В окнах приемной уже посерело, когда открылась дверь и возбужденно, с непогасшими от горячих споров глазами из кабинета вышли участники совещания. Их

было много — в длиннополых халатах и городского покроя коротких пальто, в шинелях и стеганых куртках. Здесь были каракалпаки, узбеки, русские, казахи, татары.

Туребай выждал немного, затем несмело заглянул в кабинет. Председатель сидел в кресле, положив на стол стиснутые кулаки. На лице — раздражение или недовольство. Глаза уставились в одну точку.

— Можно? — осторожно спросил Туребай.

Председатель не ответил — не расслышал, что ли.

— Войду, а? — повторил аксакал и, не дожидаясь ответа, ступил за порог, скромно присел на скрипучий стул у стены. Наверное, этот скрип и вывел председателя из задумчивости. Он вскинул на Туребая быстрый взгляд, спросил встревоженно:

— Ты кто?

— Аксакал аула Мангит. Пришел вашего мудрого совета искать, — по традиционной форме восточной вежливости встал, почтительно поклонился Туребай.

Эти слова или то, как они были произнесены, будто успокоили председателя. Взгляд его подобрел и смягчился. Он радушно улыбнулся, сделал широкий жест:

— Садись поближе, не стесняйся, душа моя. Ну, как там у вас? Все ли в семье живы-здоровы? Довольны ли новыми порядками?

Туребай откровенно, без прикрас и утайки, рассказал председателю обо всех аульных делах, поведал о дехканских бедах и трудностях, о бесконечном потоке жалоб и просьб, с которыми он, если говорить честно, не представляет, как справиться. Председатель слушал молча, не перебивал, глядя на Туребая то сочувственно, то, как казалось рассказчику, строго, испытующе.

— Выходит, не знаешь, с чего начинать, как мировую революцию в Мангите делать? — спросил председатель, когда посетитель закончил свою исповедь. Насмешка, сквозившая в этом вопросе, кольнула Туребая обидой.

— Именно. С чего Советскую власть начинать в ауле, — подтвердил Туребай и подумал, что для обиды, собственно, нет у него никакого повода: ну, пошутил человек, что ж тут такого?

А председатель откинулся в кресле, еще раз поглядев на Туребая каким-то туманным, загадочным взглядом и заговорил доверительно.

— Если все по порядку — ночи не хватит. Я тебе

только главное.. А главное что? Мы, каракалпаки, народ лебольшой. Что для других народов гедится, нам — верная смерть. Потому что, если общей дорогой пойдём, всё растеряем — обычаи, которые достались нам от дедов и прадедов, законы свои, землю свою потеряем! Понял? У нас, брат, свой путь... Вот ты и поставлен теперь для того, чтобы охранять эту вечную душу народа, сберечь ее от поругания. Спросишь меня — что же делать? Будь мудр и осмотрителен. Не давай осквернять чувства верующих, не посягай на порядки, освященные столетиями. И еще скажу я тебе: все мы, каракалпаки, богатые и бедные, — из одного чрева, от одного корня, все мы братья по крови, и нет греха более тяжкого, чем братоубийство. Запомни это!.. Дошли до меня слухи такие, будто у вас там в ауле расправу над Дуйсенбаем учинить собираются. Трудно поверить! Ведь он, Дуйсенбай...

— Кровоопийца он, вот кто! — не выдержал Туребай, стукнул кулаком по колену.

— Нет, прежде всего — каракалпак, об этом помни всегда! Уничтожите лучших представителей нации, а вместе с ними погибнут и национальные традиции, которые... — Председатель запнулся, испуганно вскинул взгляд на Туребая, спросил беспокойно. — Ты понял, о чем я тебе?

— Да в общем... — замялся Туребай, совершенно сбивтый с толку мудренными речами председателя, — я ведь неграмотный.

— Может, тебе что неясно, так я растолкую.

— Нам бы зерно на посев...

— С этим иди в отдел заготовок. Курбанниязова знаешь?

От председателя Туребай вышел с полной сумятицей в голове. «Значит, так, — думал он по дороге, — ко мне молодка бежит — муж смертным боем колотит. А я ей: терши, грешная, святой обычай! Так, что ли, выходит?.. Или вдова с голоду пухнет, а у Дуйсенбая закрома от хлеба ломятся. Не трюшь! Брат по крови... Нет, что-то не так у нашего председателя получается. Айтбай-большевой говорил иначе...»

Курбанниязов встретил Туребая холодно, официально, и на вопрос, с чего начинать работу в ауле, ответил кратко:

— Главное, чтоб классовая гидра голову у тебя там не поднимала. Никакой пощады и — точка. Соображаешь?



Было уже поздно, и на ночь глядя пускаться в обратный путь не хотелось. К тому же с чем он вернется? Что скажет людям, которые завтра придут к нему снова? Будет рассказывать, как побывал в исполкоме, или передаст строгий наказ Курбанниязова?.. Нет, упрямо решил Туребай, пока не дознаюсь правды, домой не вернусь. А не дознаюсь, скажу: простите меня, люди добрые, не гожусь в аксакалы — выбирайте другого.

В мрачном расположении духа, злой на себя и на всех своих сегодняшних наставников, явился Туребай в дом к Нурутдину. Пили чай. Вспоминали прошлое. Говорили о видах на урожай. Поирощавшись, ушла спать Фатима — жена Нурутдина. Вскоре, загасив масляный светильник, растянулись на кошке и мужчины.

Спать Туребаю не хочется. Мучают сомнения, в голове роятся смутные, неясные образы. Вот возникло изможденное лицо вдовы — запавшие глаза, приплюснутый нос, выбившийся из-под платка клочок седых волос. Затем сытая физиономия председателя исполкома. Улыбается сладко, а глаза настороженные, пугливые, как заячьи уши. Потом Джумагуль. Почему Джумагуль?..

— Знаешь, учитель, не получится из меня аксакал. Темный я человек, — поднимается на локте Туребай и взглядом отыскивает Нурутдина.

— От темноты твоей имеется верное средство — учиться! А аксакал из тебя... Отчего так решил?

— А так... — безнадежно машет рукой Туребай и в горячах выкладывает Нурутдину все наболевшее. С искренней болью в голосе признается, что беспомощным оказался — не под силу ему разобраться, что делать, как управлять аулом. С каждым днем все труднее. Думал, в город пойдет, сразу все ясно станет. Где там!.. И Туребай, распалаясь, жестикулируя, во всех подробностях передает учителю свой разговор с председателем исполкома, с Курбанниязовым.

— Что ж, для того я поставлен аксакалом, чтоб только споры соседей разбирать да за жен чужих заступаться? Это и есть вся Советская власть? — уже чуть не кричит Туребай, поднявшись с постели.

— И этим заниматься ты должен, — спокойно отвечает Нурутдин. — Ну, правда твоя, это не вся Советская власть. Далеко не вся. — Он долго молчит, собираясь с мыслями. В темноте заметно, как разгорается самокрутка.

Туребай ждет. — Советская власть — это... Ну, как тебе объяснить?..

В ауле Туребай ждала неприятная новость. Первой, насмерть перепуганная, рассказала о ней Багдадуль, едва Туребай переступил порог.

— Беда, большая беда надвигается! — лепетала она, прикрывая рот трясущимися руками. — Святой дух... посланник аллаха... Он на коне, а сзади — я видела сама — золотые крылья... — О, горе нам, горе! Нет нам спасения!

— Да перестань причитать! — прикрикнул на жену Туребай. — Можешь рассказать толком?

Но Багдадуль не в состоянии была говорить спокойно и вятно. Туребай вышел на улицу, где тотчас был окружен возбужденной толпой. Мужчины с растерянными лицами поминутно оглядывались, будто ждали — вот-вот появится кто-то. Сбившись в кучку, словно стадо овец в дикое ненастье, жалобно подвывали женщины.

— Что случилось? — ничего не мог разобрать Туребай. — Есть тут мужчины?

В ответ ему из-за высокого дувала раздался надрывной вопль:

— А-а-а!.. Рушится, рушится небо!.. О милостивый, о милосердный!.. А-а-а!

Женщины заголосили громче. Над толпой в молитвенном экстазе взметнулись десятки обнаженных рук. Кто-то рассмеялся истеричным, душераздирающим смехом.

— Да скажет мне кто-нибудь, что здесь стряслось? — разволновался Туребай. — Ну!

Никто не сдвинулся с места.

Туребай вбжал в дом, сорвал со стены ружье и, вернувшись на улицу, разрядил в воздух оба ствола. Громкие выстрелы словно отрезвили толпу. Мужчины, смущенно покашливая, потянулись за куревом. Приумолкли, робко зашевелились женщины.

— Ну, так что здесь у вас? — еще раз повторил Туребай свой вопрос и высморкался подчеркнуто буднично. Чтоб в рай явиться с чистым песом.

Кто-то осуждающе шикнул.

— А чего зубы скалите? — так же спокойно продолжал Туребай. — Аллах чистеньких любит... и богатеньких. Вы ему — тьфу!

они в ауле вроде и вовсе не существует. Сидят мужчины, лица хмурые, слова живого не скажут.

— Ну, земляки и братья, выбрали меня аксакалом, теперь уж терпите — ханом хивинским над вами стоять буду! — беззаботной шуткой начал свою речь Туребай.

На шутку никто не откликнулся — ни словом, ни слабой улыбкой даже.

— Вот просил вас прийти, совет держать нужно, — продолжал Туребай, а сам мучительно думал, чем бы зацепить, разбедить, взбудоражить этих сосредоточенных, поглощенных суеверным страхом людей. — Значит, так: Султан, что из северной части аула, жалуется — просит надел увеличить. Как решать будем?.. Джанабазарский динай своего человека прислал: в прошлый год калым Тапирбергену отправил, а невесты не выдать до сих пор. Требуется — либо невесту, либо калым! Каков будет, братья, ваш суд?

— Не о том говоришь! Небо на землю рушится, конец света идет, а ты про калым! Да пронади он пронадом вместе с проклятой невестой, — перебил аксакала испуганный, с надрывом голос.

Но Туребая уже не сбить.

— Небо, говоришь, на землю рушится? Коли так, ее, катушку, и подавно с умом делить нужно. А то ведь какая справедливость получится? У кого побольше земли, из того, значит, и неба побольше придется. Потом жаловаться к аксакалу пойдешь? Нет, брат, тогда поздно будет — все небо разделено, свободного не осталось. Так что не обессудь.

По чайхане прокатился легкий смехок. Лица угрюмых слушателей посветлели. А Туребай продолжал уже серьезно:

— И еще хочу сказать вам, джигиты, вот про что. Старики толкуют — воды нынешним летом будет в обрив. Как делить, не придумаю. В округе мне такой наказ дали: у кого хлопок — тому воду вперед, у кого пшеница или там джугара, или рис...

Заключить Туребаю не дали.

— Это почему такой порядок?

— Что же нам, хлопком кормиться?!

— А говоришь — справедливость! Какая тут справедливость? — зашумели, заволоновались собравшиеся. И этот парыв негодования, этот протест, будто солнечный луч,

высветил душу Туребая! значит, оправдался его расчет, удалось-таки ему расшевелить эту запуганную людскую массу. Оно и понятно: разве может остаться спокойным сердце дехкана при слове «вода»!

— Какой был порядок, пускай тот и останется, — поднялся с места Ходжанияз. — У кого земли больше, тому и воды...

— Экий мудрец пашелся! — вскочил, перебил Ходжанияза малютка Калий. — Так вся вода утечет к Дуйсенбаю, а нам, как в старое время, — поливай своими слезами? Не будет того, хоть руку секи!

Поджарый джигит с вислыми седыми усами потянул за рукав, усадил расхोдившегося Калия.

— Зачем много слов говоришь? Как идет вода по каналу, так и пускать на поля. Сперва одному, потом другому...

— Ха, ему хорошо — его земля рядом с каналом! — крикнул с места силач Орынбай. — А мой участок в самом конце. Пока дойдет мой черед, все сторит подчистую!

Спор разгорался, будто сухой камыш от брошенной головешки. Туребай не перебивал, не останавливал спорщиков. А разговор захватил всех. Послышались взаимные обвинения в жадности и нерадивом хозяйствовании. Уже кто-то требовал общего передела земель, отобранных несколько лет назад у Дуйсенбая.

— Так уважим мы просьбу Султана, прибавим ему немного земли? — подлил масла в огонь Туребай.

— Твоему Султану все мало! Ему и могила будет тесна! — неслось с одной стороны, а с другой откликались:

— Он верблюда с шерстью проглотит и не подавится!

Наконец, когда страсти раскалились до блеска в горящих глазах спорщиков, Туребай решил вмешаться:

— Что, так и будем всю жизнь одного барана на тысячу ртов делить? У Ишмата возьмем — Ташмату дадим, у Ташмата возьмем — Орынбаю дадим.

— А где новую землю возьмешь, чтоб и Ишмату и Ташмату вдосталь? — негромко спросил Сеитджан — труженик, каких мало даже среди землепашцев Мангита.

— Спрашиваешь, где взять? А вон лежит — бери, сколько хочешь! — широким взмахом руки указал Туребай в сторону раздольной нетронутой степи.

— Э, была б там вода...

— А вода — дело рук человека! Проложи ей дорогу, она и пойдет.

Эту мысль Туребай вынашивает с той самой ночи, в которую так и не уснул, слушая до утра Нурутдина Маджитова. Многие объяснил ему тогда учитель, ясную картину перед глазами открыл. Теперь Туребаю понятно: Советская власть — это достаток, свобода и равенство трудового народа, это чтоб без баев и бедняков, без своеволия одних и бесправной подавленности всех остальных, это чтоб рай на земле, да только без бога и его земных прихлебателей. Так, кажется, говорил учитель Нурутдин? Это светлое царство будет называться «социализм». Но дорога к нему непростая: горы свернуть придется, многих прагов одолеть в кровавой битве!

Помнится, слушал тогда Туребай учителя Нурутдина, долго слушал — всю ночь, а на рассвете спросил: «Ну, а я, аксакал аула Мангит, что я должен делать, чтоб все, про что ты рассказывал, сбылось на нашей земле?» Тогда учитель ответил:

— Тысячи маленьких дел, как песчинки в пустыне, будут тебя засыпать. Каждой найди свое место, но не дай им вырасти над собой могильным курганом. Помни — есть главное: поднять жизнь в ауле, с корнем вырубить байскую власть, высветить души лучом знаний. Как это сделать, с чего начинать?

И Нурутдин увлеченно рассказывал Туребаю, как дехкане в иных кишлаках начали строить каналы, возводить большие дома, прочел по какой-то бумаге о ТОЗах — товариществах по обработке земли.

В самое сердце запали Туребаю эти слова. И сейчас пришло время обо всем сказать людям, поделиться сокровенной мечтой.

... Поздним вечером расходились дехкане из чайханы. Во все концы аула понеслась странная до неправдоподобия весть: будем строить отводной канал, осваивать новые земли.

В доме Калия собрались соседи:

— Рыть канал — дело доброе, ничего не скажешь. Только кто мне платить за это будет? Или так, за слава аллаху? — гудел мощный бас.

— Для себя ж канал строим! — возбужденно пояснял Калий. — Для тебя, для меня...

— Ты и плати.



— Я? Да я больше тебя вырою!

— Носом?.. Ну тогда пусть платит мне тот, кто не роет,— упорствовал бас.

— Вот так и мы порешили. Кто на работы не выйдет — плати. Придется нашему Дуйсенбаю мощну свою потрясти. И Атаджану тоже. За их счет панимать землекопов будем.

— Где ж вы такой закон пашли, чтоб обирать человека?— раздался недовольный голос.

— Это Дуйсенбая обирать? Да он сколько лет весь аул грабит! Теперь ничего, пусть расплачивается — не сдохнет, небось! И закон в полной святости соблюден будет: заключим этот, как его, уговор с батрачком,— Ходжашияза, будь он неладен, назначили,— по уговору как раз и расчет. Без обмана!

— Батрачком говоришь? А это что еще за невидаль такая?

И, потирая вспотевшую шею, безбожно коверкая незнакомые слова, Калий с анломбом ханского казначея объяснял собравшимся: и что такое батрачком, и как будут производиться сложные финансовые операции.

А в доме Сеитджана другой разговор: про большой общий дом, что будут строить в этом году члены ТОЗа.

— Выходит, все у нас общее будет — и дом, и хлев, и амбар, так, что ли?— допытывался рыжий лопухий джигит.

— Дом общий, а комнаты в нем — каждому своя,— терпеливо разъяснял Сеитджан.

— А котел как же — один на всех? Я бешбармак варю — сосед пятерню запускает? Или по-другому: он варит — я аромат вкушаю? Не-с, так каши не сварить! Недаром сказано: чем забор выше, тем сосед лучше. Потому что и глаза не ужились бы друг с другом, не будь между ними носа.

— Глаза не видали, а нос свой туда же,— откликнулся молчавший до сих пор Орынбай.— Доброе дело задумали, всем миром работать будем, делить между собой поровну.

— Было б что делить!

— А жепы тоже общие будут?— подкинул кто-то из темного угла провокационный вопрос.

— Тебе-то, холостяку, что за печаль!— злобно огрызнулся Сеитджан.

— И в том, что, если вообще, в ТОЗ вступать буду. Прямые?

— Ты чего над людьми насмеяешься?!— крикнул Орынбай, сжимая огромные кулачищи.— Сказать чего хочешь? Говори!

— Хочу сказать: рукой глупа змею ловят,— предостерегающе произнес тот же сиплый голос.

— От Дуйсенбая слышался?

— Своя голова имеется.

Во многих юртах идет сегодня горячий спор — где одобряют планы аксакала, где потешаются над пустыми бреднями, а где уже аркан готовят на каждое его слово. Выйдет ли что из задуманного, этого не знает пока и сам Туребай. Но одно его радует: за всеми этими спорами, пререканиями, горячими словесными схватками как-то сама собой отошла на задний план, будто потеряла свою устрашающую власть над людьми, тень загадочного всадника. Только б не появился он опять, только б не сейчас...

Но он явился...

3

Трудно предвидеть последствия в судьбе человека, и каким приведет, будто камень на голову свалившийся, случай. Десятки раз убеждался в том Дуйсенбай: дурное событие благим результатом зачастую венчается, счастливая встреча — горькой горестью оборачивается. Что и добру, что к беде — поди угадай. Не угадаешь. Для того ясновидение особое надобно. А Дуйсенбай — как ни тяжело ему в том себе признаваться — ясновидением этим о о-бым не обладает. Бог не дал, сам не разжился. Но даже Дуйсенбай не мог бы представить себе, к каким неожиданным переменам в его душе приведет коварная измена жены. В один день на десяток годов постарел Дуйсенбай, будто седая борода на сердце выросла. Но затем, оттеснив куда-то боль и досаду, рассеяв тоску одиночества, пришла лютая ярость. Стальным стержнем прошила она Дуйсенбай, налила дряблые мышцы уиругой силой ненависти, хмельной жаждой мести ударила в голову. И словно на два десятка годов сразу помолодел Дуйсенбай. Сам дивился, откуда явилась эта подвижность, и страсть, и энергия.

Ни минуты не сидит теперь Дуйсенбай без дела. То ни свет ни заря поскачет куда-то на горячем коне, то у



себя темной ночью гостей принимает. Куда девалась осмотрительная неторопливость бая, склонность к блаженной мечтательности? Подменили человека, не иначе. Ну разве в прежние времена носился б он по округе в такую вот злую непогоду? Да его б силой от очага не оторвать!

В полночь, попетляв по узким городским улочкам, Дуйсенбай спешился, опасливо оглядевшись, постучал в ворота. Открыли не скоро: приглушенный старческий голос допытывался, кто да откуда. Наконец, бдительный страж пропустил Дуйсенбая во двор, быстро затворил ворота.

— Дома хозяин?— негромко спросил поздний гость, с трудом рассмотрев в темноте сморщенную физиономию старухи.

Привязав коня, старуха проводила Дуйсенбая в жарко натопленную комнату, где за дастарханом сидели уса-тый Таджим и Курбаниязов.

— Благополучен ли был ваш путь?— любезно поинтересовался Курбаниязов, а сам сощурился так, будто и видеть ему Дуйсенбая противно, и слышать тошно.

— Слава аллаху. Самый благополучный путь тот, что приводит к цели, ради которой отправляешься в путь. Какими новостями порадуете?

— Нетерпелив стал, Дуйсеке, нетерпелив, будто кто по пятам гонится,— осуждающе глянул на гостя Курбаниязов.—Всему свое время.

— Верно сказали: всему свое время. А паше убегает... убегает, как...—занился Дуйсенбай, подыскивая нужное сравнение.

— ...Как молодая жена от дряхлого сердцеда!— подсказал Таджим без излишней деликатности и, довольный своей оскорбительной шуткой, расхохотался.

Первым желанием Дуйсенбая было броситься на обидчика с кулаками, но, соизмерив силы противника и свои собственные, благоразумно воздержался. Скривив лицо в презрительной усмешке, ответил с подчеркнутым снокойствием:

— Оно, конечно, оттого, что к старости голова от волос избавляется, теряют не только волосы. Однако ж голова и без волос головой остается, волосы без головы — прах.

— Ну, довольно, хватит, не для того собрались!— остановил разгорающийся спор Курбаниязов.—Революция требует железной дисциплины!

— Что? — приподнялся Таджим, выпучив удивленные глаза.

— А-а, — спохватился Курбанниязов и пояснил: — Принимка. Извините.

Несколько минут в полном молчании пили чай. Затем хозяин заговорил, понизив голос до шепота:

— Есть указание разделить весь край по нациям.

— Как так? — не понял Таджим.

— Национальное размежевание, — пояснил Курбанниязов. — Каждый народ свою автономию иметь будет.

— Автономию? Это что же за вещь такая? Ты не мудри! Скажи прямо — польза от того или вред?

— Если с головой, то польза. Нужно повернуть дело так: раз автономия, значит, не каракалпак — с нашей земли убирайся!

— Это так большевики решили? — никак не мог разобраться Дуйсенбай.

— Дурак! Это мы так решили.

Нет, даже после того, как Курбанниязов подробно объяснил им, что собираются делать большевики, ни Таджим, ни Дуйсенбай так ничего и не поняли. Самоопределение наций? Союз равноправных республик? Единство классов вместо мусульманского единства? В конце концов, отчаявшись проникнуть в тайну этих загадочных слов, Таджим раздраженно махнул рукой:

— Ты нам мозги не морочь! Что делать нужно?

— Делать так, чтобы каракалпак на русского сабакой кидался. А русский — на каракалпака.

— Вот это понятно. А то — самоопределение, автономия, размежевание...

Теперь начал соображать и Дуйсенбай.

— Выходит, если наш аксакал казах, нужно...

— Верно! — живо поддержал его догадку Курбанниязов. — Наведи народ на мысль, осторожно так, исподволь, что аксакалом в Мангите должен быть свой человек, каракалпак. Ну, тот же Ходжаияз хотя бы.

— В прошлый раз оно ведь не получилось, — напомнил Дуйсенбай.

— Ваша вина. Не смогли безмозглую толпу перетянуть на свою сторону.

— Не смог!.. — огрызнулся Дуйсенбай. — Сколько денег потратил! Перед собственными батраками унижался — упрашивал.

Искушенный в делах тонкой политики, Курбанниязов обстоятельно разъяснил Дуйсенбаю, как он должен действовать дальше, и закончил хитрым наставлением:

— Если собака кусается, иди к ней либо с костью, либо с палкой.

Неожиданный стук в ворота, громкий и пастойчивый, прервал задумчивую беседу. Лицо Курбанниязова вытянулось, обычно прищуренные глаза от испуга расширились. Дуйсенбаю померещилось даже, будто уши у хозяина удлинились и стали торчком.

— Кого это носит?!— поднялся Таджим, достал из-под халата револьвер, подошел к дверям.

— Стой! Не ходи! Сейчас...— засуетился хозяин, забежал по комнате, не зная, за что ухватиться.

Осторожно ступая, в комнату вошла сморщенная старуха. Сообщила скрипучим голосом:

— Ембергенов какой-то. Пускать?

— ГПУ?!— Холодный пот выступил на лбу Дуйсенбая.

— Сюда! Скорее! Ну!— метался хозяин, выталкивая гостей в низкую дверцу.—Туда не пойдет — женская половина. Только смотрите!..

Прикрыв дверцу, Курбанниязов пошел отворять ворота. Ембергенов ввалился в комнату шумный, возбужденный.

— Ты прости, что так поздно,— неотложное дело. Прискакал из Машига нарочный, говорит, святой дух объявился. Второй раз навещает. Суматоха там страшная — конца света ждут.

— Какой дух? Что за ерунду ты несешь?

— Поехали. Там разберемся, на месте. Ну, собирайся!— торопил Ембергенов.

— Я?.. Я сейчас. Подожди.

Из-за дверцы раздался испуганный женский вскрик. На высокой ноте оборвался, будто кто рукой зажал рот. Ембергенов прислушался.

— Ты не пугайся: жена хворает — бред,— поторопился объяснить Курбанниязов.

— Может, фельдшера вызвать?

— Пройдет... Ну, пойдём?— уже тянул Ембергенова за рукав хозяин.

— Да как же ехать тебе, если с женой такое?— то ли сочувствуя, то ли подозревая что-то неладное, не двигаясь с места Ембергенов.

— Теңца приемотрит. Поехали.

— Нет, ты оставайся. Возьму с собой Нурутдина. Ладно разъяснит там народу про религию. Мужик он толковый, учитель, умеет с людьми разговаривать.

— Ну, если так... Ладно. Я в другой раз,— охотно согласился Курбанниязов.

Он проводил Ембергенова до ворот, пожелал счастливого пути и, лишь тот отъехал, стремглав бросился в дом. Дуйсенбай и Таджим ожидали его в большой комнате, откуда только что вышел Ембергенов.

— Слыхали?!— еще не оправившись от волнения, воскликнул хозяин.

— Не верь — сказки! Тебя выслеживает,— заявил Таджим, но Дуйсенбай, который несколько дней назад самодельно был свидетелем апокалипсического явления, решительно возразил:

— Про свитой дух это он точно. Был. Все видели.

Курбанниязов пропустил его слова мимо ушей.

— Говоришь, выслеживает?.. Больше у меня встречаться не будем. Опасно.

Гости начали было собираться, но Курбанниязов остановил их, усадил за дастархан.

— Не торошитесь. Может, за домом следят. Выйдете, когда развиднеется. По одному.

Напуганным неожиданным визитом Ембергенова, заговорщики чувствовали себя неудобно. Чутко прислушивались к каждому шороху, ерзали, нетерпеливо поглядывали в темное окно. Беседа не клеилась. Наконец, взяв себя в руки, Таджим повернулся к бледному Дуйсенбаю:

— Сколько пукеров пришлешь под Турткуль?

О готовящемся налете на Турткуль Дуйсенбай уже знал. И все же вопрос Таджима заставил забиться сердце его учащенно: значит, скоро, значит, близок час возмездия! Сколько раз среди ночи Дуйсенбай рисовал в своем воображении все мельчайшие подробности этой картины. Вот, зажав в руке острый кинжал, он тихим кошачьим шагом подбирался к ее постели. Притаив дыхание, склоняется над спящей и видит ее порочные губы, ее шею, ее оскверненную грудь. Она открывает глаза и, узнав Дуйсенбая, немеет от ужаса. Удар кинжала приходится под самый сосок... Нет, не сразу, не сразу он ее убивает. Узнав Дуйсенбая, она падает перед ним на колени, извивается в судорогах безумного страха. «Простите, простите

меня, родной! — лепечет она, хватаясь за полы его халата. — Я так виновата! Раскаяние ядом отравило мне душу. Я хотела вернуться, но страх... Я знала, вы никогда не простите!... О, мой ненаглядный! Убейте меня — все равно без вас мне не жизнь!..» И тогда, упившись ее унижением ее горькими сожалениями и стенаниями, он подымает книжал и — все, конец!.. Но иногда в воображении Дуйсенбая финал этой душераздирающей сцены рисовался иначе: разжалобившись, он дарует ей жизнь и, гордый, идет к дверям. Она настигает его у порога, прижимается щекой к сапогам, молит в безутешных рыданиях: «Не оставляйте меня здесь! Заберите меня с собой, любимый! Прижмите меня снова к своему доброму сердцу!» Как поступить в этом случае, Дуйсенбай окончательно еще не решил.

— Ну, так сколько пукеров сумеешь прислать? — не дождавшись ответа, переспросил Таджим.

— Двоих.

— Это кто?

— Один — Турумбет. Знаешь его — человек верный. Таджим согласно кивнул.

— А другой — я.

— Ты? — не поверил ушам своим Курбаниязов.

— Я, — с решимостью смертника подтвердил Дуйсенбай.

— А-а, — догадался Таджим, — на свидание к возлюбленной...

Дуйсенбай обозлился:

— Тебе-то какое дело?! Чего в душу грязными сапогами лезешь??! Да я тебе...

И снова Курбаниязову пришлось усмирять вельвильчивых заговорщиков. Отведя Дуйсенбая в сторону, сказал, вызывая к его благоразумию:

— Прав, пожалуй, Таджим: к чему вам рисковать своей жизнью? Да и мы... разве можем мы подвергать опасности голову, которая способна еще принести столько пользы нашему общему делу?

Подкупленный этой лестной оценкой своей особы, Дуйсенбай присмирел, скромно потупил глаза.

— Что делать, если рука сама к книжалу тянется?

— Э, сердце мое, тебя ли учить: книжал сразу заметят — души врага ватой.

Дуйсенбай поднял голову, с любопытством посмотрел



на женщина, ожидая разъяснения, и Курбапшиязов с готовностью истолковал свое хитрое наставление:

— Слыхива, аксакал ваи молодежь на учебу вербует. И ты вербуй — аксакала. Где разумным советом, где поощриво. Подсказки: пусть бы зазвал на несколько дней одну из тех, кто в Турткуль убежал. Для наглядной агитации называется. Помогли. Пускай приедет. А наглядную агитацию... Положись на нас: такую устроим — ни одной не захочется больно на эту учебу.

Таковым вышел на улицу первым. Осмотрелся, поспешно нырнул за угол. Никто не преследовал. После этого Дуйсенбай почувствовал себя спокойней. Во дворе еще раз простился с хозяином, заверил его в своей преданности святому знамени ислама и, прищипорив коня, выскочил на улицу, пустынную в этот утренний час.

Несколько вещественных доказательств появления святого духа в ауле Мангит Ембергенов не обнаружил. Одни рассуждал. После опроса свидетелей он собрал кого смог, в количестве перед собой на низком столике револьвер, являясь лицом судьи, оглашающего приговор:

— Никакого такого духа в ауле не было! Выдумки. И разве с вышешложенным приказываю: кто нечистую силу в аул поминет, того под стражу и в темный زندан! Там такой у нас дух — хоть святых выноси. Все!

И уехал. Теперь о страшном явлении шептались по деревням уртам. Друг у друга выспрашивали подробности, судачило обиринсь, толковали их каждый на свой манер. Оттого, что страх был загнан внутрь, бороться с ним Туребай стало еще тяжелей. Прежде хоть можно было разговаривать с людьми в открытую, теперь таятся, замирают, обходят его стороной. А главное — дух-таки был. На этот раз Туребай сам его видел: на том же месте, где впервые впервые, в тот же час, в лучах заходящего солнца.

Работа, которые начали было вестись по прокладке канала, замерли. Никто не решается вскинуть кетмень. Будто мор, валил дехкан суеверный ужас. Как уберечься от змеи аллаха, где искать спасения? Одни потянулись и взоветь, под защиту муллы Мамбета. Другие, которые другим шокренче, правом задорней, вокруг Ходжапшияза сбивались — день и ночь в карты режутся, кокпар ыют, анану бурну! последнее удовольствие от жизни получить торо-

нятся. Третьи бродят по аулу, друг за другом незаметно подглядывают: а вдруг кто нашел дорогу к спасению, дай и я за ним побегу.

Среди этих молчаливых искателей счастливого избавления был и портной Таиырберген. Уже вторые сутки ходит он по улицам, тайком за соседом подсматривает, к тихим разговорам прислушивается. Дуйсенбай увидел его с порога своего дома, позвал, спросил о здоровье. Таиырберген поглядел на него мутным, отсутствующим взглядом, прошел мимо, словно не узнал Дуйсенбая.

— Постой! Куда так торонишься?

Портной обернулся.

— Конец света пришел... муки адские... никому не снасться...

— Отчего же? Кто праведно жил...

— Все мы грешные, всем нам гореть в геенне огненной...— бесстрастным голосом вещал Таиырберген.

— Аллах милостив и милосерден. За тяжкие грехи — конечно, а малые и простить может,— старался успокоить портного Дуйсенбай.— Зайдем в дом, посидим, чаю попьем, поговорим кой о чем.

Словно на ялаху, поднимался Таиырберген в дом Дуйсенбая.

— Ты, душа моя, не о том страдаешь,— произнес Дуйсенбай, когда после жирной шурпы и горячего чая гость немного взбодрился.— Разве вестник аллаха сказал — конец света?

— Так и объявил!

— Не понял ты священного слова, дорогой, не проник в его смысл. Он сказал: если праведными делами не искупите грехи свои, вот тогда, правда,— конец. А если искупите...

Слабая, робкая надежда зажглась в глазах Таиырбергена.

— Великой мудростью наградил тебя аллах! Светлая голова у тебя, Дуйсеке! Разве ж может милосердный аллах все двери к спасению перед покорным мусульманским закрыть?

— Верно,— с готовностью поддержал портного хозяин.— Если аллах закрывает одну дверь, он открывает перед покорным рабом своим десять других.

От сладостного сознания, что ему удалось перехитрить всех других и без каких-либо жертв избежать разверз-



нутой перед ним пасти геены, по лицу Танирбергена разлилась блаженная, глуповатая улыбка. Но радость была преждевременной: за спасение от страшных вечных мук всемогущий аллах устами Дуйсенбая потребовал от портного искупления грехов и готовности к жертвам.

— О покровитель! Какпе наши грехи?— взмолился Танирберген, будто сидел перед ним не старый знакомый, а сивидом Дуйсенбай, а сам пророк Мухаммед.— У кого-то лишний кусок материи взял, так ведь и нам жить надо! А если ты про шубу, что шил тебе в прошлый раз...

— Дочь!— перебил Дуйсенбай портного, и тот побледнел, словно вор, пойманный на базаре с поличным.— Твоя дочь!— грозно повторил Дуйсенбай.

Танирберген растерялся:

— Будь она проклята! Ушла на учебу, так это ее грех, не мой! Пусть сама и держит ответ перед богом!

— Нет!— отрезал хозяин.— За отпрыска твоего с тебя аллах взыщет!

Такой кары Танирберген снести не мог.

— Что мне делать?— взмолился он, упав на колени.— Я отправлюсь к святым местам... я поклонюсь каабе... Я пожертвую ишану Касыму пять баранов...

— Нет!— неподкупным судьей стоял Дуйсенбай.— Верни дочь!

— Как? Как вернуть?

— Это уж, извиняюсь, твое дело.

Вечером в дом к Туребаю пришла Бибнайым. Несмотря на общую панику, выглядела она спокойно, вроде бы даже радость светилась в ее узких глазах.

— Благодать божья снизошла на моего старика. Перед концом света, говорит, хочу дочь увидеть. Пусть придет проститься,— рассказывала жена Танирбергена.— Вот пришла со своей просьбой к тебе, аксакал. Сделай так, чтоб приехала дочка. Порадуй мое старое сердце.

Честно говоря, он и сам собирался на несколько дней залучить в аул одну из тех, кто на учебу уехал, но не до того сейчас Туребаю — другие заботы одолели, ни днем ни ночью покоя не дают. Отмахнулся:

— Ладно. Поедет кто в Турткуль, передам.

Ответ не удовлетворил Бибнайым. Повторила с мольбой:

— Уважь, аксакал, материнскую просьбу. Век буду за тебя молиться.

«А что если, правда, привезти Турдыгуль? В городе они все там ученые, поможет пехось с нечистым духом бороться. Разъяснит нашим бабкам что к чему. А там, глядишь, и мужиков пристыдит. Подействует!»—подумал Туребай и твердо пообещал жене Танирбергена:

— Будет тебе дочь. Жди, мамаша!

Ближе к закату Туребай оседлал коня, сунул под попоу ружье, выехал со двора. Сначала он ехал по северной дороге, потом, убедившись, что за ним не следят, свернул в сторону и по дальней тропе обогнул Мангит с запада. Неподалеку от прибрежной насыпи спешился, спрятал коня в зарослях турагила, сам притаился рядом.

Солнце клонилось к закату, Туребай не спускал глаз с освещенной возвышенности. Ждал.

#### 4

Третьего дня, провожая Турумбета «на заработки», Дуйсенбай говорил:

— Главная цель ваша — вырезать этих, сам понимаешь. Никого не щади — ни мою, ни свою. Пусть сердце твое будет тверже скалы! Да сохранит тебя аллах от пули, сабли, кинжала и всякой иной напасти. Возвращайся живой!

После отъезда Турумбета Дуйсенбаем, как обычно, овладело беспокойство: убьют — ладно, лишь бы живым не попался. Правда, присягал Турумбет на коране свято тайну хранить, даже если будут пытаться каленым железом. Да разве можно в человеке уверенным быть? Человек, он слаб...

Грустные размышления Дуйсенбая были прерваны появлением Танирбергена. В нервном возбуждении иортной прошелся по комнате, произнес, будто захлебнулся собственным словом:

— При... приехала!..

— Чего ты волнуешься? Садись.

Танирберген сел, трясущимися руками бросил под язык шепотку курительного табака. Через минуту вскочил:

— Горит все внутри... Проклял бы, проклял бы ее,

беспутную!.. Не могу! Родная ведь... На руках носил, а она мне — папа, папа!..— Из-под очков на кончик носа скатилась слеза. Танирберген смахнул ее, по тут же по морщинистой щеке поползла другая.— Когда училась ходить, губу расшибла. Верхнюю. Метка осталась. Вот тут... О аллах, за что мне такое?!

— Не пужно. Успокойся,— сострадательно вздохнул Дуйсенбай.— Известное дело: лучше камень родить, чем дочь. Одно горе с нимн.

Первой походкой Танирберген ходил из угла в угол, растирал рукой узкую грудь.

— Уговорил бы ее: мол, брось, вернись в родной дом, живи, как люди живут,— посоветовал Дуйсенбай.

— И слушать не хочет! Совсем обезумела. Я уж и ласковым словом, и кулаком грозился. Смеется.

— Вот оно к чему, учење, приводит! У отца, можно сказать, сердце кровью обливается, а ей хоть бы что!

— Обливается, Дуйсеке, обливается...— откровенно расплакался портной.

Дуйсенбай заботливо усадил его на кошму, протянул кисайку с темным настоем:

— На, выпей.

— А может, принугнуть ее, страхом отогнать даваждење?

— Не снешн. Вот к вечеру один человек придет. Посоветуемся... А ты пей.

Зубы Танирбергена дробно застучали о край кисайки. По подбородку потекла темная струйка.

— Два года не видел,— сказал портной, возвращая хозяйину опорожненную кисайку.— Выросла. Красивая стала...

За два года, проведенные в Турткуле, Турдыгуль и правду вытянулась, похорошела. Округлились девичьи плечи, налилась упругая грудь. Даже походка переменилась — ступает твердо, размашисто, понурая спина выпрямилась, и голову держит прямо, не клонит к земле.

В полдень на попутной арбе прикатила Турдыгуль в родной аул. Как увидела ее Бибайым, бросилась, стиснула в объятиях, так с той минуты и не отходит от дочери. То по голове погладит, проведет пухлой ладонью по

косам, то за руку возьмет, то за плечо тронет и все заглядывает в глаза, глядит не наглядится. А Турдыгуль словно вся из смешливых искринок соткана: улыбается; шутит, озорным ветерком по двору носится. Вспомнит, как нетух поклевал ее вот у этой урючины, и смеется. Возьмет в руки старое платье свое, и улыбка по лицу побежала. Даже дряхлая овчарка, что, как увидела девушку, трется и трется о ее ноги, и та, кажется, вызывает в Турдыгуль какой-то умиленный восторг.

Только хмурое лицо Танирбергена омрачает этот счастливый весенний день. Когда, спрыгнув с арбы, Турдыгуль вбежала во двор, портного будто какая подружка подбросила. Сорвался с места, кинулся из юрты. На пороге застыл. В глазах еще светится добрая отцовская нежность, а тонкие губы уже накрепко сжаты, и на щеках желваки. Турдыгуль подошла, коснулась руки Танирбергена, проговорила тихо: «Отец!...» Заметались глаза Танирбергена, поднятая для ласки сухая рука невольно повисла в воздухе, глухой стон прорвался из горла. Подавил. Пересилил себя. Отвернулся.

Проведав о приезде давней подруги, потянулись во двор соседские девушки. Одни приходили тайком, вопреки строгим запретам родителей. Другие являлись открыто. Осматривали Турдыгуль пугливыми глазами, ощупывали, будто с того света вернулась, сидели, не решаясь промолвить слова. Турдыгуль сама положила конец этой боязливой скованности:

— Ну, чего вы? Не узнаете, что ли? Я это, я, Турдыгуль!

— Вроде бы и правда — похожа, — откликнулась самая бойкая. — В городе, толкуют, каких чудес не бывает! Не подменили?

— Что вам сказать, подружки? Меняют, конечно. Только не лицом — душой, — улыбнулась Турдыгуль. — Показать?

— А не страшно? Вдруг призраком обернешься...

— Ты не шути, беду накаичешь, дура! — испуганно оборвала подругу девушка с серым, бескровным лицом, на котором почными светляками горели большие черные глаза. Оглядевшись по сторонам, шепнула Турдыгуль: — У нас тут такое — не расскажешь. Дух святой объявился. Небо, говорит, на землю падет, гешпа огненная всех нас за грехи поглотит...

— Это в чем же вы так провинились?— иронически усмехнулась Турдыгуль.

— А в чем? Много грехов сотворили. Богатство и землю делить — божья воля, а мы самочинно. Речи кощунственные. Опять же, такие, как ты, обычай нарушили, против веры отцов пошли. А он ведь все видит, все знает...

— Ну, если слышит, пусть накажет меня.— рассмеялась Турдыгуль озорным, нервным смехом и громко крикнула, задрав к небу голову:— Эй, ты, милостивый и милосердный, не буду я жить по твоим законам! Слышишь? Не буду! Ну, покарай меня, если ты есть!.. Молчишь? Значит, нет тебя. Святоши выдумали!

Девушка с серым лицом зажала руками уши, стремглав кинулась со двора. Потрясенные этим страшным кощунством, обомлели все остальные. Несколько минут в напряженном молчании они ждали, что сейчас произойдет нечто жуткое, непоправимо кошмарное. Но время шло, а земля под Турдыгуль не разверзлась, и гром небесный не поразила ее за богохульство.

Через час, сбившись в юрте вокруг Турдыгуль, девушки слушали ее рассказы о городе.

— Человек рождается для счастья, а кто отбирает его у нас — воры и злодеи! Таким руки сечь!— ораторствовала Турдыгуль, и подруги, ошеломленные ее речами, сидели притихшие, зачарованные.

— А это не странно, город?— робко спросила Нурзда — дочь Калня.— Говорят, беспутство, разврат...

— Ложь! На меня поглядите! Разве такая? А Джумагуль? Она скоро школу закончит. Большим человеком будет. А жена Дуйсенбая — помните?— на певицу учится. Лучше соловья поет. Честное слово!

Кто-то несмело спросил:

— А нас примут, если приедем?

— Обязательно примут. Скажете, Турдыгуль прислала — в самую лучшую школу пошлют,—весело рассмеялась девушка и обняла за плечи подругу.

Бибиайым стояла на пороге, и чувство гордости за свою дочь смеялось на ее лице зловецей тенью страха.

Танирберген вернулся домой в сумерки, злой, бледный, с какими-то затуманенными, блуждающими глазами. Он молча остановился в дверях, ухватившись рукой за



косяк. Оглядел всех тяжелым хмельным взглядом, по промолвил ни слова. Будто спугнутая воробьиная стайка, всполошились, разбежались по своим дворам подруги. Выпроводив последнюю, Турдыгуль подошла к отцу, привалившемуся спиной к голому стволу урючины, спросила встревоженно:

— Вам... что с вами, отец?

Танирберген подался вперед, пошатнулся, с трудом удержался на ногах.

— Ты... ты не вернешься туда... Слышишь? Не вернешься!

— Нет, отец, мне иначе нельзя.

— А я говорю...

— Отец!..

Костлявым кулаком портной ударил Турдыгуль в грудь. В глазах его вспыхнула бешеная ненависть. Но в следующее мгновение голова Танирбергена бессильно поникла, и голосом, в котором смешались мольба и угроза, он сказал:

— Тогда уезжай! Уезжай!

— Хорошо. Я завтра уеду.

— Сегодня! — истерично крикнул портной. — Собирайся!

Туребай явился некстати. Он это понял, едва ступив во двор. Хотя отчего же некстати, если его приход может предотвратить скандал, который вот-вот разгорится пожаром?

— Здравствуй, сосед. Кричишь, будто снес золотое яичко. Или наглотался яиц — голос прорезался?

Танирберген насупился, исподлобья глядел на незваного гостя.

Из груди портного вырвался невинный звук — то ли вздох, то ли ругань. Оттолкнувшись от ствола, он шаткой походкой направился в дом, ногой открыл дверь, скрылся.

Турдыгуль стояла растерянная, удрученная. Нет, она не ожидала того, что, встретив, отец бросится ее обнимать, простит и забудет ее своеволие. Она понимала, что глухая обида еще берedit отцовскую грудь. И все же такой враждебной непримиримости, такого крутого упрямства Турдыгуль предположить не могла — иначе зачем так настойчиво ее зазывали домой? В глубине души шевельнулось тревожное подозрение: а не для того ли все это

сделано, чтоб обратно ее заманить, упрятать за немymi стенами юрты? От этой мысли все внутри похолодело. Девушка инстинктивно схватилась за руку Туребай, пулливо прижалась плечом.

— Ничего, перекипит — остынет. Не думай об этом, — успокоил ее Туребай. — Завтра девушек соберем. Нужно о городе, о школе рассказать, да так, чтоб возвращалась уже не одна. Сумеешь?

— Попробую, — слабо улыбнулась Турдыгуль и вдруг заговорила таинственным шепотом, горячо, увлеченно: — Я расскажу им о женщине, которая стала звездочетом. Астроном — называют. Ночью, когда все на земле спят, она смотрит на звезды. Они большие и яркие и совсем близко, потому что у нее есть такая волшебная труба. А там, на этих звездах, живут другие люди, и все у них по-другому: светло и чисто... Вот выучусь я, тоже звездочетом буду.

Несусветные фантазии девушки начали беспокоить Туребай: уж не тонулась ли она там? Перестаралась в ученье. Посмотрев на нее озадаченно, произнес преднамеренно мягко, ласково:

— Люди? На звездах? Зачем сказки рассказываешь? Ты лучше завтра правду расскажи — про землю, про новые законы. А сказки в другой раз, ладно?

— Не сказки, не сказки это! — воскликнула Турдыгуль с искренней обидой в голосе и добавила мечтательно: — Вот бы полететь к ним туда, на самую яркую...

— Ну, ты поспи — небось устала с дороги. Завтра пройдет, — отечески погладил девушку по голове Туребай.

Долго ворочалась, не могла уснуть Турдыгуль. Ей мерещилось небо в яркой россыпи звезд, и странные существа с горящими глазами, и сказочный замок, залитый лунным светом...

В полночь чуткий сон Бибиайым был нарушен какими-то неясными шорохами. Поднялась, сторожко прислушалась. Будто птица крыльями бьет. В темноте нащупала дверь, отворила неслышно. По двору кралась черная тень, колыхнулась, пронала в воротах. Мысль, как острый кипкал, полоснула старуху. Вскинула руки, воплем распорола ночь: «Доченька! Дочка!..»

Турдыгуль лежала с открытыми глазами. Над ней, дрожа всем телом, склонился Тапирберген.

Породистый жеребец Дуйсенбая, на котором Турумбет отправлялся в шальные набеги, успел привыкнуть к крутому праву наездника. Каким-то особым чутьем угадывало животное волю хозяина и покорно ей подчинялось. Только это чутье могло еще как-то уберечь коня от пинков и тяжелых побоев. Но сегодня своеправный хозяин вел себя до крайности необычно: ни разу не огрел камчой, не шнул ногой в бок, не осыпал свирепой бранью. Такого ослабления от Турумбета иомудский скакун не припомнит за все их знакомство. Странно. Жеребец осторожно потянул удила, осмелев, помотал мордой: узда, выпущенная наездником из рук, свободно болталась на холке. Почувствовав волю, конь подался к обочине тракта, сопливо побрел на пойменный луг, влажными губами стал выщипывать редкие кустики прошлогодней травы. Но самое удивительное произошло потом: очнувшись от глубокой задумчивости, всадник не стал колотить жеребца, не пугнул его зычной руганью. Грустно опустил на землю, разнуздал, сгорбившись, уселся на бугорок.

Со вчерашнего дня потеряла покой душа Турумбета. Ноет, щемит. И чувство — точно измарано, загажено все внутри, точно загнали туда стадо баранов. Временами такой едкий, гнилостный дух подымется к горлу, хоть плюйся. Плюется. Не помогает. А перед глазами — хоть зажмурь, хоть луни их на яркое солнце — все одно, все одно. Не отгонишь. Раз пройдет от начала до края, корежа сердце каждой подробностью, в другой раз заворачивает. Другой раз пройдет, и опять все сначала. Не иначе паваждешь какое...

К отряду Таджима Турумбет пристал, как обычно, в турагиловой роще. Тенерь уже, паученный прошлым, не стал перед отъездом из дома тратить на ужин своего пестуха — знал, перед походом накормят. В полночь сердобольный ахун папутьствовал их благословением и молитвой, повторял все те же до скуки привычные слова. Турумбет зевал, концом кнутовища почесывал спину, разглядывал знакомые лица. До рассвета успели пройти верст двадцать. На день притаились в густых тугаях. Все шло своим чередом, не предвещало ни особой радости, ни беды.

Только село солнце, пробилась сквозь легкий туман колючие звезды, снова тронулись в путь. Ко вторым петухам приметили на горизонте редкие огни городских фонарей. Таджим осадил коня, подождал, пока подъедут отставшие, разбил отряд на четыре группы. С четырех сторон ворвутся они в город. Сигнал — выстрел. У каждой группы — своя цель. Главное — рубить и стрелять, жечь и грабить. Встреча на площади, где штаб турткульских большевиков.

Турумбет оказался в той группе, которую вел сам Таджим. Хищными зимними волками подбирались они к городским окраинам. Неслышно миновали кладбище, выехали на широкую улицу. Поравнявшись с мечетью, Таджим вытанцил из-за пояса револьвер и на полном скаку выстрелил в воздух. И тут же тихая ночь дрогнула от диких криков, беспорядочной стрельбы, звона бьющихся стекол. Будто невиданной силы подземный толчок всколыхнул, пробудил спавший город. Дробно застучал пулемет, кто-то неистово заколотил брусом по рельсу, криком пемых надрывались коровы. В паническом страхе заметался по улице случайный спутник. С каждой минутой шквал криков и рева, стрельбы и звона, лай и грохота подымался все выше. Казалось, этот шквал неудержимой волной половодья затопит, сметет, поглотит все дома и деревья, людей и животных.

Турумбет несся рядом с Таджимом. Он тоже что-то кричал, размахивал обнаженной саблей, гнал и без того летящего коня. У железных ворот, что приткнулись рядом с двухэтажным домом, Таджим с трудом остановил разгоряченных нукеров.

— Здесь! — крикнул он и револьвером ткнул в сторону большого дома. — Они здесь все!

Ворота оказались запертыми. Несколько нукеров, спешившись, кинулись их отворять. Одни в остервенении колотили по железу прикладами, другие что есть силы налегали плечами. Кто-то, самый отчаянный, дикой коникой вскарабкался на ворота. Он уже приготовился прыгнуть во двор, но в последний момент вскинул руки, зашатался, замертво свалился на головы своих сподвижников.

— Они нас... они стреляют! — не то удивился, не то еще больше рассвирепел Таджим. — Всех перережем, собак! Всех! Н-ну, джигиты!



Под напором десятка тел ворота поддались, с грохотом рухнули на землю. И тотчас по железу застучали сапоги и подковы. Нукеров встретили ружейными выстрелами. Сухонарый юнец, скакавший рядом с Турумбетом, клюнул носом, выронил из рук саблю, будто пехотя, свалился набок.

Двор оказался большим, загроможденным какими-то неразличимыми в темноте строениями, разгороженным высоким кустарником. В первую минуту ни сам Таджим, ни нукеры его не могли разобрать, откуда по ним стреляют. Завертелись на месте, разряжая винтовки кто в кусты, кто в окна и двери. Наконец разглядели: из окон. Бешеной сворой бросились, вышибли дверь, столпились в темном проеме. И тут в спину им грянули новые выстрелы. Теперь стреляли из-за кустарника.

Притаившись за стволом, Турумбет увидел, как шевельнулась в кустарнике фигура. Одна, другая. Упал на землю, прополз по-змеиному несколько метров, подкрался к ним сбоку. Вот они, рядом, слепой попадет. Турумбет подымает винтовку, прицеливается, нащупывает пальцем холодный курок. И вдруг будто что его по глазам ударило: в мерклом сумеречном свете ему почудилось на винтовочной мушке лицо Бибигуль. Подался всем телом вперед, впился взглядом — она! Растерялся. Завертел головой, будто искал, у кого бы спросить совета. А Бибигуль, словно почуяв что-то недоброе, или, может, захваченная дурманящей властью боя, поднялась, выбежала вперед, на открытое место.

Все, что случилось в следующий миг, Турумбет вспоминает с трудом — все перевернулось, смешалось, огнем обожгло его сердце. Он не раздумывал, что ему делать, какое принять решение, — пальцы рук, глаза, плечи, словно выйдя из повиновения Турумбету, словно больше они не принадлежали ему, действовали самостоятельно. Он смутно помнит еще, как возникла перед Бибигуль грозная фигура всадника. Это Таджим несся на женщину с высоко занесенной саблей. Свистнув, сабля опустится на голову бывшей жены Дуйсенбая, и тогда... Но прежде чем опустилась сабля, прыжком барса кипулась из-за кустарника на Бибигуль белая взлохмаченная фигура. Оттолкнула, свалила на землю. Что-то очень знакомое было в этой фигуре. Кто она? Кто? И будто молния осветила былое — Сапем!.. Удар сабли пришелся в плечо,



глубоко рассек грудь. С дикой яростью Таджим дернул саблю, вырвал из обмякшего тела, поднял над головой для нового удара. В хищном оскале сверкнули из-под усов ровные белые зубы.

Турумбет не слышал выстрела. Он ощутил лишь резкий толчок приклада в плечо. Потом, будто в замутненном сне, он видел, как вывалилась из рук Таджима тяжелая сабля, как, скорчившись, Таджим схватился за бок, уперся грудью в крутую лошадиную шею. Жеребец встал на дыбы, чуть не скинув наездника, повернулся, крупным галопом помчался к воротам.

К лежавшей навзничь Санем подбежала женщина:

— Мама!.. Мамочка!

Турумбет вздрогнул: она, Джумагуль! Заученным движением отвел затвор, загнал в ствол новый патрон, прицелился.

Обескураженные исчезновением своего предводителя, нукеры отступали к воротам. Через каждые несколько метров они останавливались, стреляли по окнам, где мелькали возбужденные, испуганные лица. В глубине двора вспыхнул пожар. Турумбет опустил винтовку, отполз подальше от сухого кустарника, поднялся, побежал к воротам...

Жеребец Дуйсенбая мирно пасся на пойменном лугу. Подперев рукой подбородок, сидел на бугорке Турумбет. Тяжелые, скверные чувства грызли джигита. Он силюнул, резко помотал головой, чтобы отогнать навязчивые видения. Не помогало. Снова с какой-то неправдоподобной медлительностью Таджим заносил над головой острую саблю, скалился, подымался на стременах, вытягивался всем корпусом вперед. Сабля плавно опускалась на спину Санем, мягко и беззвучно рассекала тело, будто это было вовсе и не человеческое тело, а канар с сухим хлопком, воздушное облако. Потом вдруг Санем поворачивалась к Турумбету лицом, но это было не сегодняшнее, сморщенное старушечье лицо, а то, другое, которое он видел, когда впервые приезжал свататься к Джумагуль. Затем неожиданно и совершенно необъяснимо являлась новая картина, и Турумбет заново переживал гнетущую сцену изгнания Санем из юрты. Что-то язвительное кричала Гульбике, беспомощно всхлипывала Джумагуль, а Санем старалась ее успокоить, гладила по спине, улыбалась неловкой, виноватой улыбкой. Но самое

страшное было видеть, как Таджики яростно вырывает саблю из обмякшего тела старухи. Падая, она оборачивалась лицом к Турумбету, будто искала у него защиты или ответа, и он яростно слышал ее последние, точно саблей отрубленные слова: «За что? За...»

Как ответить ей на этот вопрос? Себе самому не может Турумбет на него ответить. Дуйсенбай поучал: нужно мстить, нужно в землю вогнать всех прокаженных гяуров, что запродались инородцам, пошли против веками освященных обычаев!.. Ну, пусть бы сам и мстил, а то ведь себя бережет, как ароматную розу, — Турумбета в топор налача превращает. Когда вершины нашей цели достигнем, будем рядом, говорит, на тое сидеть, тебя первого, говорит, на тот большой праздник попросят. Попросят, как же! Жди: осла приглашают на свадьбу либо дрова возить, либо воду носить... А за что мне, собственно, мстить? Землю они у меня вроде не отнимали, стада мои не делили, ханской власти, которой владел, не лишали. А что жена на учебу сбежала, так сам ведь ее и прогнал. Словно пса ценного. Дуйсенбай науськивал: куси ее, куси! Вот и укусил... себя самого...

Турумбет злобно шул ногой лежащий на земле обрез. Встал, воровато оглядевшись по сторонам, поднял его, пригнувшись, пошел к турангиловой роще. Земля была влажная, мягкая, сабля входила в нее легко, будто резала масло. Через несколько минут Турумбет положил в яму обрез и саблю, засыпал землю обратно, утрамбовал сапогами. Опасливо озираясь, вернулся на прежнее место, вытер с лица липкий соленый пот. Похоже, обошлось — никто не видал. Теперь все: похоронил, заупокойную молитву прочел. Больше в руки не возьмет, хоть руку секи. Вспомнилось: целуй руку, которую не можешь отрубить. Вот так он, кажется, любит Таджикима. Хорошо, если тот не приметил, кто всадил в него пулю. А если приметил?.. И новый страх обуял Турумбета: для чего ему было стрелять в курбани? Пусть бы тот убил Бибигуль, вырезал всех, кто учится в школе, — братья-сестры они ему, что ли?!

Турумбет глубоко вдохнул свежий весенний воздух, устало прикрыл глаза. И сразу замельтешили перед ним разноцветные круги, в ушах зазвенел далекий серебряный колокольчик. И представилось вдруг Турумбету, будто он уже больше не он, не грозный воин аллаха, а воль-

ная птица, что парит в чистом небе, и нет ему дела ни до Гаджима с его буйной шайкой, ни до грешников, отступившихся от бога. Аллах всемогущ и, коль захочет, сам покарает отступников, обойдется без помощи Турумбета. А Турумбет будет жить отныне сам по себе, как вольная птица в небе.

## 6

Среди ночи кто-то тревожно забарабанил в дверь.

— Вставай, аскакал! Дочь портного зарезали...

Вскочил, впопыхах долго не мог попасть ногой в штанину, на ходу накинул халат.

В узкой улочке у ворот Танирбергена толпился народ. Двор был запружен соседями. Жалобно причитал низкий женский голос. Будто листва на ветру, колыхались, тихо перешептывались человеческие тени.

Туребай протиснулся вперед. Сквозь откинутый полог в тусклом мерцающем свете лампады увидел вытянутые мертвенно неподвижные ноги. Вошел.

Вид мертвеца всегда приводил Туребая в состояние смутной тревоги, внушал тошнотную брезгливость. Даже сейчас, когда перед ним лежал труп Турдыгуль — той Турдыгуль, к которой еще вчера он относился с искренним участием и отеческой нежностью, даже сейчас он не мог перебороть в себе этого тягостного, гнетущего чувства.

Туребай остался на месте. Оглядел покрытое белой накидкой бездыханное тело, распростертую в беспамятстве Бибнайым, скорченную фигуру Танирбергена.

— Кто ее? — спросил глухо.

Будто очнувшись от глубокого забытья, портной поднял голову, взглянул на Туребая бессмысленными, немеющими глазами и вдруг, свалившись на колени, заплакал жалобно, нестушленно:

— Я, Я это... Своими руками!.. Убейте меня, люди! Нельзя мне жить! Убейте!..

Никто не шелохнулся, не подошел к Танирбергену, чтобы успокоить, поднять на ноги. А портной в ужасе разглядывал свои ладони с растопыренными заскорузлыми пальцами, бился головой об пол, стонал:

— Дочка... Доченька... Мертвая... О-о, горе!..

— Уберегите его! — приказал Туребай и вышел из юрты.

Через час по распоряжению аксакала в Чимбай ускакал гонец. «Без Ембергенова не возвращайся, — напутствовал его Туребай. — Пусть приедет, во всем разберемся».

Еще одним громовым ударом обрушилась смерть Турдыгуль на головы и без того насмерть запуганных жителей аула. Опустели улицы Мангита. Редкий прохожий мелькнет меж дувалами.

День прошел в томительном ожидании. Никто не приходил к аксакалу, да и сам Туребай не искал теперь встреч — что скажешь людям, какими словами перешибешь скованный их страх? Грызло чувство вины: не уберет Турдыгуль, не понял вчера, какая опасность нависла над девушкой. Слепой, и тот бы, наверно, почувал неладное, а Туребай большими глазами глядел на портного, видел страшное его поведение и, дурак-дураком, ничего не понял, ничего не увидел! Эх, аксакал!.. Радовался, думал, приедет Турдыгуль, расскажет девушкам, как там в городе уму-разуму учат, какая там жизнь красивая, — другие за ней подадутся. Сагитировал. Теперь так запуганы — не подступишься!

Чем больше размышлял Туребай, тем мрачнее становилось у него на душе, и, как обычно бывает в такие минуты, все, чего бы ни касался он мысленным взглядом, будто по мановению злого волшебника, мгновенно окрашивалось в черные, безнадежно унылые тона. Замыслили построить канал — не построили, только венки в голой стене торчат. О доме для членов ТОЗа мечтали — где этот дом? Все порушила, развеяла, унесла нечистая сила, все добрые намерения сокрушила. Не будет теперь ни канала, ни дома, ни ТОЗа — ничего не будет. Только вечный, как горы, Дуйсенбай, и мулла, и беспросветная нищета в юртах дехкан, и слезы запродавших в любовное рабство девочек. Так было — так будет...

В груди Туребая накапливалась злость, та злость, что зачастую внушает человеку безрассудные решения, отчаянные поступки. Он натянул сапоги, напялил на самые глаза мохнатую панаху, вышел из кибитки. Тихая, безлюдная улица с замкнутыми воротами еще больше растравила злость Туребая — попрыгали, пуганными зайцами дрожат в своих порах. Остановился посреди улицы, громко позвал:



— Эй, джигиты, батыры отважные! Выходи, на кур охотиться будем!

Никто не откликнулся. Тогда, уже не владея собой, Туребай стал неистово колотить в ворота, кричать, бесноваться:

— Труссы!.. Труссы презренные!.. Открой, эй ты, открывай ворота — в бороду твою плюнуть хочу!

Над дувалами по обе стороны неширокой улочки появились удивленные, испуганные лица.

— Взбесился ты, что ли? Чего шумишь?— приоткрыл ворота Орынбай — могучего телосложения мужчина с покладистым, на редкость уравновешенным нравом.

— Позапирались! Собака и та у своей конуры храброй становится. А вы... Эх, мышцы вы, вот кто!

Вокруг Туребая уже собрались соседи, привлеченные шумом и криками.

— Говори толком, чего тебе надо? Ну, чего?— пытался урезонить аксакала Орынбай. Но Туребай, будто в стремину попал — его несло и несло, и не было у него сил остановиться, подумать, что он говорит и делает. Задиристым петухом наскакивал он на Орынбая и все что-то кричал, негодовал.

— Не пойму я тебя, аксакал. Или змея ужалила?— сохранял еще невозмутимое спокойствие грузиный, широкоплечий плотник. — Может, в дом зайдешь, посидим, поговорим по-людски?

Где-то подсознательно Туребай ощущал всю нелепость положения, в которое он себя поставил. «Остановись! Успокойся!» — шептал внутренний голос, а он продолжал кричать, хватая плотника за грудь:

— Нашли дурака! Не-ет, я вас... Я все ваше поганое утро вижу! Натравили портного на дочь — пусть зарежет, тогда, мол, никто не заставит нас своих отправлять на учебу! Чужой кровью спастись задумали?! Сволочи!

Обычно такое спокойное и добродушное лицо Орынбая насунилось, окаменело, сжались огромные кулачищи.

— Дурак бы трепал языком — спросу мало, а тебя за такое... — И плотник подался вперед, наступая на аксакала. Туребай с силой толкнул его в грудь и тут же ощутил, будто молот опустился ему на плечо.

Между плотником и Туребаем бросились люди, схватили за руки, развели в стороны. Аксакал упирался, гро-



зил Орынбаю расправой, поносил трусливых соседей. Неизвестно откуда появилась Багдадуль. Вскрикнула, повисла на плече у мужа, потащила в дом. Сколько лет живет с Туребаем, таким никогда не видала. Не иначе — сглазили человека, анашой одурманили.

Долго еще Туребай не мог успокоиться — метался по комнате, швырял все, что ни подвернется под руку, слал кому-то проклятия. Наконец добрые, тихие слова Багдадуль урезонили мужа — утомился, лег на кошму, ладонью закрыл глаза. Лежал молча, не шевелясь, чутко прислушиваясь к потоку странных ощущений. Сначала ему показалось, будто злость, кипящей массой разлившаяся по всему телу, стала вязкой, густой и, постепенно твердея, тяжелым камнем легла на сердце. Мышцы расслабились, обмякли. К горлу подкатил едкий, как дым от сырого кизяка, душащий ком. Туребай заерзал, отвернувшись к стене, натянул одеяло на голову. Однако чувство неловкости, острой досады на себя самого не исчезло. С каждой минутой оно становилось все жестче. Похоже, это и был тот камень, что больно придавил сердце. Горячая кровь ударила в голову, зазвенела в ушах, и вместе с ней явилась горестно-ясная мысль: какой же из меня аксакал, вершитель новой власти? Честных людей ни за что ни про что обидел, кулаками свои права доказывать стал. Тут бы нужно взбодрить народ, поднять на общее дело, а я в драку... Стыдно, эх, стыдно! Людям теперь в глаза не посмотришь. Нет, не гожусь в аксакалы — ни умом, ни силой духа не вышел. Решил, будто груз непомерный с плеч сбросил: откажусь! Судите меня, люди, а только аксакалом больше не буду! И перед Орынбаем извинюсь: прости, мол, меня, брат, — дурь в башку стукнула, прости, если можешь.

Туребай поднялся, вышел на порог, скинул взглядом знакомую улицу. Словно уснул или вымер аул — ни души вокруг, ни живого голоса. Даже зеленые лепестки, только вылупившиеся из почек, и те будто следенели в испуге — не шелохнутся. А солнце светит по-весеннему радужно и играет в зыбких лужицах, подымает над влажной землей белесое марево. Туребай тоскливо потоптался на месте, вскинул голову, бросил под язык щепотку табаку. Но что это там маячит вдаль, в стороне от большого тракта? Присмотрелся. Вроде всадник или верблюд двугорбый — отсюда не разглядишь. И вдруг подозрение, тре-

вожжкая догадка кольнула острой иглой. Туребай кишулся под навес, где сощливо переминалась с ноги на ногу тощая кобыла, вывел ее со двора, вскочил на костлявую снину. Пригнувшись чуть не до самой гривы, ударил каблуклами в живот, затрясся по тихой улице. Две недели уже изо дня в день, как садилось солнце, отпраивлялся Туребай в засаду, притаивался под насыпью у канала — караулил посланца аллаха. Не появлялся. Неужели сегодня, когда дьявольской одурью затмило глаза, святой дух обявится снова? Эх, безумец, темная голова твоя, аксакал!

Конята туребаевской клячи отбивали глухую дробь по влажной земле, и в такт им колотилось сердце наездника: быстрее, быстрее! Только б догнать, только б не унустить! Теперь за коническими куполами юрт, за плоскими крышами кибиток Туребай не видел ни насыпи, ни мелькнувшей в стороне от большого тракта загадочной фигуры. А может, это ему все померещилось и никакого посланца там нет?

— Эй, аксакал! Куда скачешь? За вчерашним ветром погнался?—окликнул Туребая Калий, вышедший из орынбаевской юрты.

Туребай не ответил, только глянул быстрым распаленным взглядом, и этот диковатый взгляд неясной тревогой отозвался в груди Калия. Он подался вперед, беспокойно всматриваясь вслед Туребаю, недоуменно пожал плечами, крикнул:

— Эй, чего там стряслось?..

Но Туребай был уже далеко. Немного помедлив, Калий вернулся в юрту, сообщил Орынбаю растерянно:

— Не иначе, взбесился наш аксакал. Сейчас стою — несетя, как черная молния. Крикнул — молчит, глянул — аж мурашки по спине побежали.

— Может, какая беда?—насторожился Орынбай.

— Поди спроси его, шалого!

Тенерь они вместе вышли на улицу и долго стояли, прислушиваясь к тонкому, паутинному звону предвечерней тишины, к далекому, едва различимому цокоту копыт, к сухому пощелкиванию пересмешника. Нет, ничто как будто не предвещало беды — ни пустынные улицы, ни мирно застывшие в вышине прозрачные облака, ни ласковое закатное солнце. И все же покоя на душе больше не было.

— Куда поскакал, говоришь? — хмуро спросил Орытбай.

Калий протянул руку в сторону заходящего солнца:

— Вон туда.

— Странное дело...

...Туребай нещадно колотил тощпе бока кобылы. Она вся покрылась пеной, хранила, задыхалась. Казалось, еще несколько шагов, и кляча падет, не выдержит бешеной гонки.

Мпював последнюю кибитку, Туребай потнал коня напрямик, через пахоту, через заросли тураггила, по вязкому берегу распределительного арыка. Солнце, повисшее над горизонтом, било в глаза, кидало под ноги коню длинные тени. И вдруг, когда до насыпи было уже совсем близко, Туребай услышал над собой могучий, будто с самих небес несущийся голос: «О люди! Я послал поведать вам волю аллаха. Слушайте! Слушайте все!..»

Туребай вскинул голову и, ослепленный прямыми лучами солнца, с трудом разглядел на возвышенности сияющую, будто из золота литую, похоже и впрямь волшебную, фигуру. На белоснежной чалме ее горела звезда, из-за широких плеч лились потоки света, и даже копь под ней был точно зеркальный. Огнемолненный этим зрелищем, Туребай остановился как вкопанный. Хотел ответить глаза — не мог. Хотел крикнуть — не было голоса.

А всадник продолжал вещать нечеловечески громко, так, что слова его неслись над всем аулом, будто обволакивали его: «Аллах милостивый и милосердный мудростью своей карает отступников. Вечному огню и страшным мукам предал он дочь портного Танирбергена за то, что преступила она его волю, его вечный закон...»

И лишь теперь, прикрыв ладонью глаза, Туребай заметил, что в руках у посланника божьего небожыная труба, такая же, в какую, видал он когда-то, кричат моряки на Аму.

«...Эта страшная участь ждет каждого, кто пойдет на учебу к большевоям, посягнет на порядок, установленный со дня сотворения! А тем, кто преданно служит...»

Туребай и сам не мог бы объяснить, какая сила внезапно толкнула его, залила отчаянной яростью. Сжав кулаки, весь напряжившись, крикнул что было мочи: «Врешь, врешь ты, собака!» Голос его по сравнению с громоподобным раскатом воелалца аллаха звучал не

громче комариного цика. И все же посланец расслышал его, повернулся всем телом в седле и будто испугался даже. Оборвав свою устрашающую проповедь на полуслове, он прохрипел в трубу: «Аминь!», резко рванув узду, направил коня вниз по склону.

Туребай сорвался с места, галопом понесся навстречу. Теперь их разделяло всего несколько метров. Подозрительно, не зная еще, как понять такую перемену, Туребай отметил про себя, что, оказавшись в тени, у подножия насыпи, посланник аллаха сразу померк, будто потерял свое неземное сияние. Он скакал, как заправский джигит, и полы его атласного халата развевались на ветру. В голове Туребая мелькнуло далекое воспоминание — летающий див, волшебная сказка, услышанная когда-то в детстве. Неужели сказка сбывалась у него на глазах? Туребая одолела минутная слабость, он зажмурил веки, почувал в ногах противную дрожь. А всадник скакал все быстрее и быстрее, словно и вправду сейчас подыметя в небо. Злость полоснула по сердцу: «В небо так в небо, в ад так в ад, — решил Туребай, — однако от меня не уйдешь!» И, дернув кобылу за гриву, помчался вдогонку за дивом.

Видно, снаряжая своего посланца на грешную землю, аллах неплохо о нем позаботился: жеребец под посланцем — чистых кровей иомудский скакун, ноги длинные, шея крутая, идет — земли не касается. У Туребая кляча совсем не волшебная: гони не гони — извелась, еле шлетется. И, верпо, никогда ему не настигнуть посланца, если б не чудо. А явилось оно в виде черной коряги, которую какая-то добрая сила сунула под ноги крылатому жеребцу. Конь споткнулся, передние ноги подогнулись в коленях, и божий посланник на полном ходу кубарем скатился на землю. Упал, схватился за ногу, но тотчас вскочил, откинул полу халата. «Ур-р! Хэ-хэ!» — издал Туребай воинственный возглас, приближаясь к посланцу аллаха. Вот он уже совсем рядом. Сейчас аксакал прыгнет на него с коня, повалит, скрутит за спиной руки. Но в последний момент, взглянув на посланника бога, Туребай обомлел — вместо человеческого лица с носом, где ему положено быть, губами, подбородком, усами, вместо всего этого перед ним была белая маска, а в ней две дыры, горящие адским пламенем. Воинственный клич застрял у Туребая в глотке. Он поперхнулся и от страха



ухватился за гриву кобылы. Словно почувяв его состояние, кобыла встала как вкопанная, испуганно запрядала ушами, жалобно, надрывно заржала.

Так стояли они друг против друга — посланец аллаха и красный аксакал Туребай. Неизвестно, чем бы закончилась эта встреча небесных сил и земных, какая сторона одолела, если б вдруг одним быстрым движением божий посланник не выхватил из-за пояса нож. Стальное лезвие блеснуло перед глазами Туребая, но — странное дело — не испугало, а будто успокоило даже: слышано ли это, чтоб посланец аллаха, как бандит на дороге, с кинжалом на людей кидался? Что же это оно получается? Если нож, выходит, этот крикнул никакой не посланец. А если посланец, значит, в руках у него вовсе не нож. Чего же тут бояться? Однако, прежде чем очертя голову кидаться на неведомого противника, Туребай предусмотрительно решил вступить с ним в дипломатические переговоры:

— Эй, послушай, откуда ты такой взялся?

Не спуская горящих дыр с Туребая, посланец аллаха задом отступал к своему коню.

— Ну, чего нам в молчанку играть? Давай потолкуем. Ты кто такой есть?

Очевидно, противник почувял нерешительность Туребая и, поразмыслив, решил этим воспользоваться.

— Я послан аллахом предостеречь мусульман от страшной кары за их грехи и отступничество. — хриплым загробным голосом изрек посланник. — И ты, Туребай, ты тоже можешь еще спастись от геены огненной. Отступись от греха! Образумься!

Теперь, когда посланник аллаха говорит без трубы, голос его был совсем человеческим, вроде бы даже знакомым.

Однако предаваться воспоминаниям было сейчас недосуг. Продолжая свою хитрую игру, Туребай всплеснул руками, удивленно воскликнул:

— По имени меня называешь? Выходит, аллах меня знает?

— Аллах все знает, все видит, всем воздаст по заслугам!

— Хорошо говоришь! Воистину мудрые слова говоришь! Только чего же ты, божий посланник, будто лихой конокрад, от людей таишься? Прокричишь свое петухом



с пригорка и спик. Так не гоже. А давай к народу пойдем, обо всем как следует потолкуем. Может, и в самом деле, от греха отступимся, неверных забросаем камнями или пожиком твоим прирежем — как скажешь, а сами попить раз в день будем аллаху молиться. Пойдем!. Куда ж ты?

Вместо ответа посланник вскочил на коня, с силой огрел его камчой меж ушей. От неожиданности, а может, и оттого, что не привык он к такому неделикатному обращению, конь вздыбился, замотал головой, сделал несколько резких прыжков в сторону, и посланник, не удержавшись в седле, снова свалился на землю. На этот раз Туребай не стал выяснять его родственных связей с аллахом. Изловчившись, он прыгнул на плечи посланца, вывернул руку, в которой был зажат нож, отбросил его далеко в кусты. Теперь нужно было поднять противника под себя. Туребай сделал подножку, толкнул его в грудь, но в последний момент не удержался на ногах и сам оказался прижатым к земле. Он сделал попытку вывернуться, поддать противнику сзади ногой, но тот всем телом павалился на красного аксакала, рукавом халата заткнул ему рот, подбородком сдавил горло. Задыхаясь, теряя сознание, Туребай высвободил руку, ударил по маске, туда, где у людей находятся глаза. Судя по воплю, которым противник откликнулся на этот ловкий удар, у посланника божьего глаза находились на том же узаконенном месте. Окрыленный такой схожестью небожителя с простым смертным, а кетати, воспользовавшись и его минутным замешательством, Туребай вскочил и тем же способом удостоверился, что и нос у посланца аллаха растет не на затылке. Чтобы окончательно разрешить все сомнения, аксакал ухватился за свисающий сбоку край белоснежной чалмы и потянул ее на себя. По-видимому, чалма на посланнике божьем была не только символом святости, но имела еще и чисто практическое назначение, потому что, как только она размоталась, маска упала, и перед Туребаем возникло самое обычное, с ушами торчком, крючковатым носом и аккуратно подстриженными усами, ничем особо не примечательное мужское лицо. Туребай вроде бы даже видал его когда-то. На базаре, что ли? А может, на каком-нибудь тое? Не припомнить.

Освободившись от сковывавшей его маски, незнакомец почувствовал себя свободней и предиринял еще одну

отчаянную попытку скрыться. Он пригнулся, зайцем шарахнулся в кусты, но тут же был постигнут разгоряченным Туребаем. Поединок продолжался в кустарнике. Аксакалу удалось чалмой стреножить противника. Победа казалась уже совсем близкой. Но в азарте борьбы Туребай не заметил, как в руках у посланца небес появился еще один нож. Удар пришелся Туребаю в спину. Он удивленно вскинулся, лицом повернулся к противнику, и новый удар полоснул его по руке. Превозмогая боль, Туребай скрутил незнакомцу руки, обвинил их другим краем длинной чалмы. Узел он затягивал уже зубами.

Несколько минут Туребай лежал неподвижно, затем приподнялся, сел, ощущал кровоточащую рану. Хотел встать — не смог. Дотянулся до ствола турангила, прислонился спиной, замер.

В трех шагах от него, как рыба, пойманная в сеть, беспомощно барахтался незнакомец. Он старался освободиться от сковывавших его пут, но, видно, схватка под насыпью и его изрядно вымотала. Наконец, вдоволь покувыркавшись, задыхаясь от усталости, утомился и посланец аллаха.

Первым пришел в себя Туребай. Открыл глаза, усмехнувшись, поглядел на распростертого противника, сказал с едкой издевкой:

— Выходит, не посланец ты, а самозванец! Вот узнает аллах про твои проделки, про то, как пророком его стать захотел, ой, плохо тебе, бедняга, придется. Поджарит тебя, как барашка, на вертеле!

Желая выказать свое полное презрение и к Туребаю, и к его словам, незнакомец повернулся набок, промолчал. А Туребай продолжал его донимать:

— Скажи хоть, у кого эту железную глотку украл? Или труба твоя — дар аллаха? А? Чего нос воротить? Привык в райских кущах с богом беседовать, так нами, грешными, брезгуешь?

— Ты, поговори, поговори, — обозлился пророк. — Наши придут, язык твой поганый вырежут.

— А ты кликни. Может, сейчас и придут. Заодно как раз и тебя б от кары вызволили.

— Придут!

И на самом деле, недалеко, за кустарником, послышался шорох шагов. Туребай и незнакомец заметили его одновременно. Оба повернулись, замерли в нетерпели-

вом, настороженном ожидании. Кому сейчас улыбнется счастье, а кому придется расстаться с последней надеждой?

Счастье улыбнулось Туребаю. Из-за холма, пугливо озираясь по сторонам, вышел великан Орынбай, за ним неслышно ступал трясущийся Калий.

В аул возвращались все вместе. Впереди, понурив голову, плелся пророк. На нем снова была чалма и маска, на поясе болталась труба. За посланником божьим с самым воинственным видом неотступно следовал Калий. Орынбай шел сзади, поддерживая за плечо бледного, обессиленного Туребая. Когда эта необычная процессия вошла в аул, Калий поднес ко рту «железную глотку» и прокричал своим высоким, писклявым голосом:

— Эй, люди! Именем аллаха милостивого и милосердного! Всем собратья к хаузу! Грядет Страшный суд!

Туребай набросился на него:

— Перестань! Забаву нашел! Тут и без того, глядишь, от страху у всех глаза на лоб вылезли, а он пугать.

— Так ведь собрать-то народ нужно.

— Ну и собирай, а баловство ни к чему.

Калий повертел «железную глотку» в руках и с сожалением снова подвесил ее к поясу уже совсем поникшего посланца аллаха.

Весть о небывалом судилище, которое через час состоится у хауза, облетела аул с быстротой молнии. Сначала боязливым шелотом, затем все громче, все смелей эта новость обсуждалась в юртах и на улицах. И вот потянулся к хаузу нестройный поток любопытствующих. Первыми, как обычно, были вездесущие сорванцы. За ними степенно следовало мужское население аула, а уж потом гомонливыми стайками двигались женщины.

Малютка Калий, очень гордый собой, встречал подходящих громкими возгласами и, беспорядочно размахивая руками, говорил:

— Это раньше думали, аллах будет над нами Страшный суд вершить. Теперь времена переменялись. Сами устроим этому посланнику божьему Страшный суд, да такой, чтоб небу жарко стало. Правильно говорю, а, Салим?

— Помолчал бы лучше,— пытался урезонить Калия угрюмый Салим.

Но не тут-то было. Бесперывно жестикулируя, при-  
танцовывая на кривых коротких ножках, Калий продол-  
жал:

— А что? И на самом деле: какой он нам судья? Живет  
себе на небе, пусть там и живет, а в наши земные дела не  
лезет. Мы ж в его небесные порядки не вмешиваемся, не  
устанавливаем ему там свои законы! Каждому свое: ему—  
небо, нам—земля. Так я понимаю.

Незнакомец в чалме и маске стоял посреди площади  
под бдительной охраной Орынбая. Вокруг, все прибывая  
и прибывая, толпился народ. Поцокивая языком, удив-  
ленно разглядывали маску, ощупывали халат, пробовали  
дунуть в трубу, которая висела на поясе пойманного не-  
божителя. Орынбай отгонял любопытствующих, страдая  
и посмеиваясь:

— Отойди! Не тронь! Ну чего уставился — ангел как  
ангел, ничего особенного... Э-эй, тетушка, не цунай —  
у ангела там ничего не бывает!

— Эх, бесстыдный твой язык, Орынбай! Какие слова  
говоришь! — обиделась тетушка и, устыдившись, скрылась  
в толпе.

А в стороне другой разговор, тихий, несмелый:

— Что на человека похож — ничего не значит. Слыхи-  
вал я не такое. Бог захочет, и ворону своим посланником  
сделать может. Не накликать бы нам беды на свою голо-  
ву, ох, боюсь, братцы, боюсь!

— Толкуют, на прошлой неделе ишак у Мамбета пету-  
хом голосил. Это, понимать надо, знамение нам такое  
дано, — шепотом подхватил другой собеседник.

Туребая на площади не было. Ослабевший от борьбы с  
посланником божьим, от потери крови, перевязанный не-  
умелой рукой Багдадуль, он метался на старой кошме. В  
голове роились кошмары: то бездыханное тело Турдыгуль,  
плывущее по каналу, то стаи летящих мужчин с белыми  
пятнами вместо лиц и ножами вместо перьев на крыльях.  
Время от времени, приходя в сознание, Туребай посылал  
Багдадуль на улицу поглядеть, что происходит на площа-  
ди. Она выходила за порог, прислушивалась к отдаленно-  
му гулу и тут же возвращалась, не рискуя надолго  
оставлять разметавшегося в жару Туребая.

— Что там? — спрашивал он хриплым голосом.

— Все хорошо, все хорошо, дорогой.

— Судят?

— Конечно, судят. А что с ним делать, с бандитом поганым?

— Из Чимбая никто не приехал?

— Скоро приедут. Ты не волнуйся. Спокойно лежи.

Но через несколько минут все повторялось сначала:

— Пойди погляди, что там на площади...

А на площади страсти разгорались все больше. Взобравшись на глиняное возвышение, окружавшее хауз, Орынбай держал первую в своей жизни публичную речь:

— Это для чего ему, подлецу бессовестному, в шкуру святого духа рядиться вздумалось? Вот ты скажи, Калий. Скажи, как считаешь?

— Запугать нас хотел. Только мы не такпе!— живо откликнулся Калий, и толпа всколыхнулась:

— Верно!.. Правильно говорит!.. Голову ему отрубить!

А когда, нашумевшись, толпа смолкла, послышался предостерегающий голос муллы:

— Безвозмное стадо! Разве может человек вершить суд над божеским промыслом? Грех! Тяжкий грех! Одумайтесь, мусульмане, великая кара постигнет вас!

— Божеский промысел, говоришь?— разозлился всегда такой спокойный и уравновешенный Орынбай.— А он не божеский, он чертов посланец. Вот!— И резким движением он сорвал маску с лица незнакомца.

На минуту толпа застыла в безмолвии. Сотни глаз впились в лицо человека, который еще недавно внушал им мистический страх.

— Так это ж Курбан, прислужник Нурумбета-ахуна! Я его в чимбайской мечети сколько раз видел!— неожиданно крикнул какой-то джигит из толпы. И другой голос поддержал его:

— Точно. Еще, помнится, в прошлом году припошения у меня принимал, когда жену я к святым местам водил.

И вдруг точно взорвалась толпа. Гул негодования повис над площадью. В прислужника ахуна полетели камни и комья глины, десятки рук потянулись к нему, вцепились в халат.

— Стойте! Нельзя так! Уймьтесь!— старался перекричать толпу Орынбай, отдирая чьи-то руки от обомлевшего, дрожащего посланника божьего, кого-то отталкивал, принимал на себя град ударов, но сдержать разбушевавшиеся страсти было невозможно. Словно обрушил-



ся камнепад, и, заражая друг друга гневом и ненавистью, люди ринулись на того, кто силой страха хотел лишить их воли и разума, растоптать и развеять по ветру все надежды, которые пробудила в них новая жизнь.

Шелковый халат на самозванном посланце был разорван. Лицо исцарапано, перемазано грязью. Он едва держался на ногах, и только широкая синя Орынбая еще как-то спасала его от расправы.

Спасение пришло к слуге Нурумбета-ахуна с той стороны, откуда он менее всего мог его ждать. Оно явилось в лице Ембергенова, по зову Туребая прибывшего в аул, чтобы расследовать убийство Турдыгуль. Вслед за Ембергеновым на площади появился еще один всадник, и многие сразу узнали его — Баймуратов, тот, что в крайкоме секретарем работает, главный большевой на всю округу.

Баймуратов не раз бывал в Мангите. Со многими он встречался в Чимбасе, многих знал понаслышке. Пройдя сквозь людской коридор, Баймуратов поднялся на возвышенность, стал рядом с Орынбаем, улыбувшись, обратился к возбужденной толпе:

— Что это у вас здесь? Никак богослужение? Или свадьба?

Объяснения посыпались со всех сторон, и хотя разобрать что-либо в этом гвалте было делом совсем не простым, Баймуратов в конце концов понял. Он поглядел на поникшего пленника, окинул взглядом толпу, поднял руку:

— Товарищи! Третьего дня приходил ко мне один человек из ваших — Ходжаниязом назвался. Жаловался, пет порядка в ауле: Советская власть, мол, про Мангит и не вспомнила, аллах позабыл.

По рядам прокатился ропот. Головы зашевелились, отыскивая в толпе Ходжанияза. Он стоял гордый, сияющий, озорным подмигиванием отвечая на любопытствующие взгляды. А Баймуратов между тем продолжал:

— Выходит, неправду сказал Ходжанияз — не позабыл вас аллах. Видите, специального посланца откомандировал. Для чего? Чтоб запугать вас. Чтоб землю — обратно Дуйсенбаю, власть — прежнему аксакалу, который при Дуйсенбае, как собака при чабане. Чтоб и думать никто не смел про новую жизнь, равноправие женщин, свет знаний! Нет, не забыл вас своими заботами

аллах. Это его слуги убили вчера дочь портного, устраивают засады на дорогах, коршунами налетели на Турткуль. Только остановить революцию им не удастся! Вместо зверски убитой Турдыгуль завтра поедут учиться новые девушки. Свободный труд на себя, товарищеская обработка земли принесут вам достаток, сделают полноправными хозяевами своей судьбы. Вот чего добивается Советская власть. Вот чего боятся наши враги!..

В полдень Ембергенов устроил портному допрос.

— Кто убил?

— Аллах... аллах призвал ее к себе,— будто невменяемый, денетал портной.— Могила — дверь, и все люди входят в нее...

— А дверь эту открыл для твоей дочери кто?

— Дочь моя, зрачок моего глаза, Турдыгуль,— да папнит аллах твой сад,— юродствовал Танирберген, и непонятно было, действительно ли смерть единственной дочери затмила его рассудок или прикидывается он, чтобы уйти от расплаты.

— Ладно, довольно валять дурака!— прервал его стелания Ембергенов.— Жена твоя говорит, сразу, как это случилось, тень какая-то к воротам метнулась. Кто это был?

— Тень? Это... это чистая душа Турдыгуль взлетела на небо в чистую обитель аллаха. Райские гурни подхватили ее и на крыльях широких понесли ее, понесли...

— Понес челуху!— не удержался Ембергенов, поднялся, угрожающе уставился на портного.— Будешь отвечать на вопросы или...—И вытащил из кобуры револьвер. Подействовало. Сознание портного мгновенно прояснилось. Он заговорил быстро, захлебываясь, угодливо склонившись перед Ембергеновым.

— Не стреляй, начальник. Все скажу, все, как было. Затмение нашло на меня... Посланник аллаха... Отец, говорит, в ответе за дочь, тебе, говорит, Танирберген, в аду за нее гореть в геенне огненной. Убей, шепчет, убей!

— Значит, ты убил Турдыгуль?

Портной молитвенно поднял руки, воскликнул в экстазе:

— О, дочь моя, ты, которая была драгоценным камнем печати счастья! Да разве мог бы я дитя родное? Да что я, зверь какой-нибудь! Не я, не я ее убил!

— Кто?

Танирберген опасливо оглянулся, убедившись, что никто не подслушивает, приблизился к Ембергенову, сообщил заговорщически:

— Человек... человек один приходил. Сам такой коротыш, лицо волка, а челюсть — будто копыто ударило, нету челюсти, от губы сразу шея...

— Имя!

— Не знаю, не спрашивал... Меня оттолкнул и ножом ее, ножом... в сердце...— И Танирберген расплакался, рукавом утирая слезы.

— А ты знал, что он должен прийти?— допытывался Ембергенов.

Портной опустил на колени, стукнулся лбом об пол, забормотал:

— Боже, ты, которому поклоняются темнота ночи и свет дня, сияние луны и блеск солнца, шорох деревьев и журчание воды. Боже, ты, которому поклоняются небо и земля, суша и море и все, что в них. Боже, ты, который знает тайное и явное и то, что в сердцах...

Так ничего больше и не удалось Ембергенову выведать у портного. Вечером, связанного крепкой веревкой с посланником божьим, под охраной трех дюжих джигитов Танирбергена отправили в Чимбай. Столпившись вдоль дороги, жители аула провожали их с холодной молчаливой ненавистью. Похоже было, еще какую-то частицу прошлого под строгим конвоем уводят сейчас из аула. И не было в сердцах остающихся ни сострадания к арестованным, ни жалости к прошлому.

## 7

Прошрое рисовалось Дуйсенбаю долиной без слез и печали. И если стоило жить, то лишь затем, чтоб вернуть это прошлое. Любой ценой. Хоть на время.

— Эх,— горестно вздохнул Дуйсенбай и повернулся на другой бок,— правильно говорят: молодость живет ожиданием, старость — воспоминанием.

В комнате было темно и душно. Где-то под потолком назойливо жужжала муха — должно быть, угодила в паутину, и теперь паук подбирается к ней, предвкушает,

как наследится теплой мушкетерской кровью. Со двора допосылся гундосый голос старшей жены — хорошо, хоть эта не сбежала, не бросила Дуйсенбая на старости лет. Впрочем, эта не сбежит, потому что, если разобраться, женщина вообще подобна тени: за ней бежишь — убегает, от нее бежишь — за тобой гонится. Вот и выходит, что женщина сама по себе вроде бы и не существует — тень мужчины, его отражение.

Позвать бы Мамбета-муллу, поделиться с ним этой мыслью. Мудрая мысль.

На дворе что-то ухнуло, и эхом что-то внутри оборвалось у Дуйсенбая. Идут! За ним!.. Приподнялся на локте, прислушался, вздохнул с облегчением — нет, слава аллаху, на этот раз пропесло. Лег, укрылся с головой одеялом, крепко зажмурил глаза. Хорошо бы заснуть, успокоиться. Только пойдя уснокойся, когда мысли одна страшнее другой мохнатыми пауками лезут в голову.

Затерявшись в толпе, Дуйсенбай видел, как вели по дороге портного. Тот шел, понурив голову, волоча ноги, точно они у него деревянные, а длинные рукава полосатого халата болтались, будто на чучеле. О аллах, только б не выдал! Только б не выдал!.. Приведут его в город, поставят к стенке — все расскажет. И что дочь домой завести Дуйсенбай научил, я что гневом божьим запугивал, что свел с недомерком Матджаном... Нагрянут тогда большевики в дом Дуйсенбая, скрутят руки... Нет, об этом думать не нужно. Лучше о чем-то другом — приятном, божественном. В прошлый раз ахун Нурумбет замечательные слова говорил. Кажется, так: «Нет безопасности, кроме как у праведника, нет близости, кроме как у единомышленников, нет творения, кроме как для исчезновения, нет дружбы, кроме как во сне».

А сон не шел. Закроет Дуйсенбай глаза, и опять начинают капошиться в уме мрачные, как могила, видения. Один раз привиделся Турумбет. Будто врывается в какую-то незнакомую комнату, хватает за длинные косы женщину в расшитом жакете. Женщина вскинула руки, повернулась лицом, и Дуйсенбай чуть не вскрикнул — Бибигуль. А Турумбет замахнулся и ножом ее — в грудь, по глазам, в горло! Аж подбросило Дуйсенбая, холодный пот на лбу выступил. Встал, прошелся по двору, чтоб успокоиться, обругал жену.

В другой раз померещилось, будто скачет Турумбет

по стешной дороге темной безлунной почью. Только глаза, как у волка, сверкают. Одной рукой уздечку натягивает, в другой — узел держит. Вдруг наперерез ему Ембергенов. Вскинул винтовку, прицелился — бах! Конь шарахнулся в сторону, а Турумбет — кувырком. Упал, лежит недвижимо, а рядом узел валяется. Подошел Ембергенов, развязал цветастый платок, а там голова Бибигуль, и глаза у нее открыты. Выпрямился Ембергенов, погой Турумбета в бок и спрашивает:

— Кто велел?

А Турумбет на коленях к нему подползает, умоляет сквозь слезы:

— Не казни, владыка! Не по доброй воле я — Дуйсенбай приказал. С него спрашивай.

— Врешь, собака! — крикнул Ембергенов и занес острую саблю над бычьей шеей Турумбета.

И тут — о ужас! — голова Бибигуль, что лежала на цветастом платке, заморгала глазами и сказала мертвенно ровным голосом:

— Не врет он, начальник. Муж мой... Дуйсенбай велел... Отомстите ему за меня... за всех... за...

Ледяной мороз продрал Дуйсенбая по коже. Сгинь, навяжденье! Пронади ты пропадом! О аллах, за что такие мучения?! Лучше б совсем лишил сна, чем посылать такие кошмары!

Дуйсенбай выбрался из-под одеяла, кликнул старшую жену. Когда появилась, кивнул на конюму:

— Садись.

Села. Преданными глазами глядя на мужа, ждала приказаний. А Дуйсенбай мерял комнату тяжелыми медвежьими шагами, сонел, что-то бормотал себе под нос.

Старшая жена по-своему расценила странное поведение Дуйсенбая. Глянула на него благодарным, обволакивающим взглядом, потянула к себе одеяло. Наконец-то. Вспомнил о ней. Выбросил из головы эту проклятую беглянку-изменицу. Слава аллаху!

Но Дуйсенбай, словно забыв о присутствии старшей жены, продолжал все так же ходить по комнате — взад, вперед, от стены до стены. Чтобы напомнить о себе, женщина осторожно покашляла. Дуйсенбай остановился, поглядел на жену, до подбородка натянувшую на себя одеяло, на лицо ее с ожидаательно призывными глазами и разом охладил ее пыл:



— Дура!

Ну что ж, она не обиделась: муж! Подобно милостивому и милосердному, он может призвать ее, если захочет, может отринуть. И чтобы не впасть в тяжкий грех, она не станет допытываться — за что, почему? Такова воля владыки и господина. Не ей оспаривать его решения, его мудрую волю...

А владыка и господин от преследовавших его видений не находил себе места. Сколько раз твердил себе: об этом не думай, забудь, вспомни про что-нибудь приятное — не получается. Будто клин вбили в голову. Горного козла под черен загнали. Нет, не умел как следует настоящую жизнь ценить! Раздолье, улады, покой... Где это все, куда сгнуло? Ветром сдуло, пылью припорошило — ничего не осталось, ничего...

И снова мысли Дуйсенбая потекли по привычному руслу: эх, вернуть бы сейчас это прошлое, ничего б не пожалел, кажется, все отдал!.. Впрочем, подсчитать, и так немало отдал и скота, и денег, и зерна, и... сколько всякого другого добра на этого лихоимца Таджима истратил! Прожорлив бандит, как целое стадо. Еще год-другой — совсем разорится хозяйство. Ничего не останется. Что тогда?.. Таджим говорит, придет день — сторицей вернется. Не очень-то верится. Не маленький Дуйсенбай, понимает: коль и придет этот день, не всякому будет солнце светить -- тому, кто богатством владеет, иначе чего ж за ним гнаться, чего тратить?! А ну как случится, все отдаст Дуйсенбай, чтоб солнце вчерашнего дня на небо вернуть. Вернется солнце, а Дуйсенбай не увидит его — ослеп, все богатство растратил. Не про него ль это сказано: убить отца своего, чтоб поклясться его могилой?

Острое нетерпение овладело Дуйсенбаем. Чего это он, как баба, затаился под одеялом? Гром не грянул еще, а он уже прятаться! Может, там в это время делят свет того долгожданного дня, ради которого жертвовал он своим добром, рисковал жизнью? Нужно действовать! Торопиться! Нужно скорее ехать!

Дуйсенбай забежал по комнате. Натягивая сапоги, вытащил из кованого сундука теплый чапан, сорвал со стены камчу. Уже повязывая поясной платок, услышал робкий голос жены:

— Куда вы на ночь?

— Куда да зачем — все тебе зпать! — злобно отрываясь Дуйсенбай и застыл у порога. В голове мелькнуло: «А на самом деле, куда я? Зачем?» Но какая-то упрямая сила неудержимо гнала его в путь: «Ехать, ехать, там разберусь».

В полночь Дуйсенбай приблизился к роще, в густой чаще которой, помнил он, находилась обитель ахуна Нурумбета. Место это для тайных сходов, для сборища басмачей было выбрано не случайно. Широкое русло Аму-Дарьи с запада, озеро Биркулак с севера, каменные горы Кырантау с юга — все это надежно защищало святую обитель от посторонних, подозрительных взглядов. Здесь можно было укрыться на сколько угодно времени, не испытывая каких-либо неудобств или лишений: настбища для коней — под ногами, свежее мясо фазанов — над головой, жирный амударьинский балык — протяни только руку. Кроме того, баи окрестных селений тайными тропами и водным путем доставляли сюда и баранов, и муку, и соль, и даже кокнар, чтоб поддержать воинственный пыл в душах преданных служителей веры. Когда же, случалось, поблизости появлялись красные конники и всякое сообщение со святой обителью становилось опасным, настояльцы ахупа Нурумбета без всякого зазрения совести тащили и улетали приношения дехкан святому Али, могила которого находилась у подножия Кырантау.

С замирающим сердцем въехал Дуйсенбай в темную рощу. По узкой тропе углубился в чащобу. В условленном месте трижды прокричал совой.

Сонный джигит с перевязанный шеей молча проводил его к дому ахупа, стукнул по-особому в дверь, с подозрительным интересом покосился на дуйсенбаевский перстень, блеснувший при свете луны.

Комната, в которую ввели Дуйсенбая, была полна каких-то едва различимых лиц: светильник, стоявший на дастархане, бросал тусклый неровный свет. В самом центре, прямой, неподвижно строгий, сидел ахун Нурумбет. Рядом с ним, облокотившись на высокую подушку, лежал усатый Таджим. Рука и плечо его были перевязаны куском белой материи, сквозь белизну проступали багровые пятна. Услышав, что кто-то вошел, Таджим поднял тяжелые веки, глянул на Дуйсенбая блуждающим взглядом и снова закрыл глаза. За дастарханом, спиной

и Дуйсенбаю, сидело еще трое мужчин в шелковых по-  
дсаатых халатах. А вдоль стен на полу, будто погонщи-  
ки каравана на коротком привале, лежали и сидели в  
самых непринужденных позах джигиты — человек пят-  
надцать-семнадцать. Дуйсенбай недовольно поморщился:  
разлеглись, как в собственном доме, никакого почтения  
к сапу ахуна!

— Садитесь, — пригласил Нурумбет тихим, сдавлен-  
ным голосом. — Как здоровье? Какими новостями бо-  
гаты?

Дуйсенбаю хотелось сказать, что сам он явился сюда,  
чтобы обоими поздравиями вдохнуть аромат новостей, одна-  
ко, какой же благососитанный мусульманин позво-  
лит себе прямо с порога кидаться в деловой разговор!  
Нет, если эти невежи разлеглись на полу перед лицом  
святого ахуна, Дуйсенбай не станет им подражать. Он по-  
кажет всему сборищу, как следует держать себя в доме  
служителя бога.

— Надеюсь, аллах ниспослал вам, отец, добрый ап-  
петит, благополучие и сердечный покой. Как чувствует  
себя наш мудрый наставник?

— Благодарение богу. Садитесь, — повторил Нурумбет,  
и по тому, как он говорил, Дуйсенбай догадался, что душу  
ахуна окутала черная туча и нет у него ни сил, ни жела-  
ния, соблюдая правила хорошего тона, вступить в затяж-  
ную беседу.

Поминув имя бога, а заодно и пророка его, Дуйсенбай  
ступил к дастархану, почтительно поклонился, сел про-  
тив ахуна.

Прошла минута, другая... Никто не заговорил, не  
пошевелился. Только в темном углу кто-то всхрапывал,  
кто-то пугливо вскрикивал сквозь сон.

«Будто на поминки попал, — подумал Дуйсенбай,  
чувствуя, как погружается в вязкую болотную глухоту. —  
Хоть бы кто слово живое сказал. Молчат». На мгнове-  
ние ему показалось даже, что люди, сидящие за дастар-  
ханом, уснули, снят с открытыми глазами. Хотелось вско-  
чить, схватить их за плечи, растормошить.

Глухо застонал усатый Таджим. Ахун смочил вату в  
кисайке, приложил Таджиму к вискам. Один из джиги-  
тов шепотом объяснил Дуйсенбаю:

— Рапили.

— Где?

— В Турткуль прошлой ночью ходили. О-хо-хо, многих не стало, многих...

Ахун, видно, расслышал эти слова, повернулся, произнес назидательно:

— Не считай мертвыми тех, кто убит на пути аллаха, — они живы!

И снова воцарилось молчание. Дуйсенбай решил было спросить у соседа, не слышал ли тот чего о храбром нукере Турумбете, да передумал — не время. Но сосед, вздохнув и пошамкав беззубым ртом, заговорил сам:

— Со всех боков обложили. В Мангите вот тоже...

— Из Мангита я. Знаю.

И снова в разговор вмешался ахун:

— Прошлой ночью Матджана с поручением к вам посылали. Нет до сих пор. Помог ли аллах ему свершить правый суд над проклятой отступницей?

— Как же! — вскинулся Дуйсенбай. — Душа этой грешницы в аду уже жарится.

— Слава аллаху! А как там Матджан?

— Никто и не видел. Ушел вместе с ночью.

— Куда он девался? — не выдержал сосед Дуйсенбая, беззубый старик с красным распухшим носом.

— Аллах благосклонен к нему — явится, — твердо ваявил ахун и снова погрузился в молчание.

Теперь это молчание затянулось надолго. Дуйсенбай успел разглядеть лица нукеров, заполнивших комнату, винтовки и сабли, брошенные в углу, незаметно пощупал, из какого материала сшит халат беззубого старика. Вскоре, однако, он углубился в раздумья. Ехал сюда делить свет счастливого дня, а вышло — кромешную ночь разделять приходится. Да-а, видно, нескоро придет этот день. А может, и никогда не займется. Чего ж тут гадать, когда незрячему видно — плохи дела у защитников веры. Совсем плохи! Этих в Турткуле разбили, того в Мангите поймали. Что дальше? Ох, Дуйсеке, не на того коня ты поставил, зря монну свою тряс!

Дуйсенбай еще раз оглядел побитое воинство, и так ему стало жалко и себя, и двух коров, отданных этим дармоедам, и зерна — лучше б коням своим стравил, больше пользы...

Усаый Таджим скрикнул зубами, прохрипел:

— Пить!

Ахун поднес ему кисайку с холодным чаем, снова омыл руки.

Близился рассвет. Но чем светлее становилось в узком окошке за спиной Нурумбета, тем больше стужался мир в душе Дуйсенбая. Что дальше? Как теперь жить? Какой дорогой идти? Не было ответа на эти вопросы. Ни в собственной голове, ни в убеленной сединами голове Нурумбета. Что оставалось? Спросить у аллаха? Спрашивал. Не посылает ответа, не вземлет горячим молитвам.

Грустные размышления Дуйсенбая были прерваны появлением Матджана-недомерка. Толстый, низкорослый, с уродливым подбородком и огромными, как блюда, оттопыренными ушами, этот человек обладал на редкость энергичным нравом. Никто еще, кажется, не видел его в состоянии покоя. Он вечно суетился, размахивал непомерно длинными, чуть не до самых колен, худыми руками, и широкий рот его, издававший высокие, писклявые звуки, никогда не закрывался. Говорят, даже во сне Матджан-недомерок продолжал шевелить губами, сопеть, хрустеть суставами сухих пальцев, дергаться всем своим щедедушным телом.

Еще с порога он закричал молодым петушком и захлопал руками, как крыльями:

— Вставайте, войны! Повоевали! Ур-ра!

От крика, неожиданно ворвавшегося в мертвую тишину обители, от свежего ветерка, пахнувшего в дверь, пукеры испуганно вскакивали, таращили глаза. Не понимая еще причин этого шума, хватались за ножи, спрятавшие под халатами. Только ахун Нурумбет, задремавший перед самым рассветом, не поддался испугу и панике. С чувством достоинства, приличествующим его священному сану, он поднялся навстречу опасности, не осознавая еще, однако, какую, собственно, опасность таит в себе этот шум и беспорядочная суета и мельтешащая перед глазами фигурка обезьяны. И только тут, смахнув остатки сна, Нурумбет догадался: вернулся Матджан. Благословив его прикосновением руки, ахун широким жестом пригласил Недомерка к дастархану:

— Будьте нашим гостем, дорогой. Садитесь, садитесь!.. Кому аллах благоволит, тому и слуги аллаха в ноги кланяются. Чем порадуешь наши уши, истосковавшиеся по добрым вестям?



После мягкого, благородного голоса ахуна визг Недомерка резанул, как ила:

— Сделал все, как велел нам аллах,— прямо в сердце, вот так!— Матджан показал, как умело и ловко он всаживает кинжал в грудь своей жертвы.— Портной — молодец, тоже помог. Все бы отцы такие, быстро б с неверными справились. А? Да. Голову хотел привезти — доказательство к вашим ногам — не успел: мать, как клушка, целый базар подняла. Такой шум! А? Да. Ха-ха-ха! А доказательство есть, прихватил. Под подушкой лежало. Может, думаю, документы какие или что. Верно, отец? А?

— Документы?— живо заинтересовался ахун.

— Сейчас.— И Матджан-недомерок вытащил из-за пазухи, бросил на дастархан тонкую ученическую тетрадь.

Вокруг дастархана, навалившись друг другу на плечи, столпились пукеры. Нурумбет-ахун достал из кармана очки, неторопливо протер стекла и очень торжественно водрузил их на нос. В полной тишине он прочел на обложке: «Дневник Турдыгуль, дочери Таяирбергена. 1924 год, 1 января».

— Ну, документ?— нетерпеливо допытывался Матджан-недомерок.

— Не беспокойся. Не документ, но тоже важная вещь. Из этой бумаги мы все узнаем про беспутную — и что делала, и как думала, и чему их там учат, в этом пристанище дьявола.

— Ага! Я сказал! Слышали!— возликовал Недомерок и, не удержавшись, вскочил на ноги.— Не эта бумага, так я б вчера еще здесь был. А с ней средь бела дня не носкачешь — вдруг поймают. Откуда бумага? Каинан. Решил ночи дожждаться. Верно, отец? А? Да. Голову отрубить — тоже голову пужно иметь! Ха-ха-ха!

— «А? Да»,— передразнил Недомерка косоглазый пукер и с трудом усадил его на место.— Не скажи, дай послушать, про что там написано. Читайте, отец.

Нурумбет облизал большой палец, помусолил страничку, заиняясь, начал читать.

«Вот я и в школе. В школе очень хорошо. Нам учат читать и писать. А еще проходим мы арифметику и есте-

ствознание. А больше всего мне нравится история. История — это про то, что было. Джумагуль говорит, нужно вести дневник и записывать туда все, что видишь, делаешь, думаешь. Но разве можно буквами записать, что думаешь или чувствуешь? Этому иногда и слов не найдешь, а букв тем более. Наверное, есть такие особые знаки: вверх копытцами — радость, вниз — горе. Мы этого еще не проходили. А больше я не знаю еще, что писать. Джумагуль уехала в аул по заданию. Когда вернется, неизвестно. Без нее мне плохо и совсем одиноко. Она мне как мать родная. Мама... Как ты сейчас там? Вспоминаешь ли свою Турдыгуль? Ох, домой бы, хоть ненадолго, к тебе, мама! Все. Сегодня больше писать не буду».

«Джумагуль еще не приехала. Ждала ее вчера целый день, а она не приехала. Про что писать сегодня, никак не придумую. В столе нашла дневник Джумагуль. Говорят, читать чужие письма и дневники — грех, но я краешком глаза — чтоб научиться, как писать свой дневник. Иначе как я научусь, если никогда не видала? Джумагуль добрая, она простит».

«Вот, оказывается, она какая! Бедняжка, сколько страданий вмещает ее душа! А посмотришь — улыбается, шутит, нас подбадривает. Сильная».

Я сейчас несколько мест, самое главное, к себе переписку — будет как для примера».

«Уже второй год, как я в Турткуле. Что с тех пор переменилось в моей жизни? Все. Иногда мне кажется, только здесь и началась настоящая жизнь, а то, что было раньше, — кошмарный сон. А может, ничего и не было раньше?.. Нет, было: отец, муж, Айтбай. Самое дорогое, что осталось у меня от прошлого, — мать и Айгыз. И память».

У нас много уроков, и я очень занята: чтение, письмо, арифметика, история. Сильно устаю, а когда приходит усталость, в голову разные глупые вопросы лезут: для чего это все? Писать, чтобы уметь писать? Читать, чтоб научиться читать? И только?.. Нет, наверное, все это нужно для чего-то другого, большего, главного. А что это большее и самое главное? Наверное, когда выучусь, узнаю. Да как же учиться, не зная зачем? Нужно поговорить с Марфой Семеновной».

«Дни падают, как волны. Кажется, сегодняшний — самый важный. А прошел — и будто не было его вовсе, вроде бы даже и следа не оставил. Как волна на прибрежной круче. Почему это так? Наверное, правда: каждый в отдельности — слабая волна, а сольются в месяцы и годы — подточат кручу, размоют, в песок перетрут. Но есть ведь в жизни человека и какие-то главные, поворотные, самые важные дни? Есть. А где они у меня? День, когда отец пас вместе с матерью выгнал на улицу? Или тот, когда явился Турумбет? А может, это вовсе и не день, а ночь — та ночь, когда решилась кинуться в канал, и только мертвый лед сберег меня от смерти? Ох, немало, немало было в моей жизни таких дней, что темнее самой крошечной ночи. Но были ведь и другие, о которых никогда не забуду. Короткие дни встреч с покойным Айтбаем. (Страшное дело: ничего ведь и не было — встретимся, перекинемся парой слов — и в разные стороны, а в душу запали — не вытравить). И был еще большой день поездки в Чимбай, митинг, слова о новой жизни, о равноправии женщин. А потом день побега.

Сегодня объявили, три дня занятий не будет — едем по аулам агитировать молодежь вступать в школу. На дорогах опасно — засады. И чего, не понимаю, басмачам этим нужно? Так, вроде поперек горла мы им стали.

Ну, хватит на сегодня. Буду собираться».

«Горе. Большая беда. Умер Ленин. Марфа Семеновна сказала на митинге: «Дело его не умрет. Он будет жить в наших сердцах, в социализме, который мы построим по его заветам». Я тоже выпла на трибуну. Расплакалась и ушла. Что теперь будет? Неужели все вернется, как было?»

Ахун Нурумбет перевернул страницу, оглядел лица пукеров, сбившихся вокруг него, недовольно поморщился: не понравилось ахуну выражение этих лиц. Внимали б вот так, когда он читает коран. Нурумбет полистал дневник, промолвил со скучающим безразличием:

— Ну, хватит — бабы слюни. Зря время тратим.

— Почитайте еще, отец, любопытно, — попросил один из пукеров, совсем молодой джигит в кургузом халате.

Не удостоив его ответом, Нурумбет повернулся к Матджану:

— Ложись, отдохни. Вечером с божьей помощью в Чимбай поедешь.

Недомерок потер отсутствующий подбородок, покосился на дневник с сожалением.

— Выходит, пустяк? А я-то думал—красный фирмап.

— В умелых руках и портянка фирмапом становится. Если нужно, конечно,— изрек Нурумбет, и хотя Недомерок не понял затаенного смысла сказанных слов, тем не менее он снова горделиво приосанился, твердо уверовав в то, что, выкрыв дневник, совершил чуть ли не подвиг, угодный богу и полезный земным его слугам.

— Вот баба проклятая! Богопротивные слова пишет, а интересн. Будто дастан слушаешь, а?— бесхитростно признался нукер с перевязанным глазом, и это откровенное признание заставило ахуна еще больше насупиться.

— Не пристало воинам аллаха уши развешивать, над бабьими сказками вздыхать!— сурово отчеканил Нурумбет и добавил повелительно:— Коней напоить! Чистить оружие! Намаз!

Один за другим нехотя подымались нукеры, потягивались, растирали затекшие ноги. Когда последний из них скрылся за дверью и в комнате остались лишь те, кто сидел вокруг дастархана, ахун Нурумбет пояснил:

— Ни к чему это им — только голову забивать. Что истинно, а что ложно, мы им скажем.— И удостоверившись, что в обители остались самые надежные, доверенные люди, понизив голос, продолжал чтение дневника.

«Два месяца, как не садилась я за дневник. Трудные, черные месяцы. Эта ночь, когда мы узнали о смерти вождя. Дни скорби, страха, растерянности. Было отчего испугаться — весть о смерти нашего Ленина будто взбодрила врагов, вернула им силы. Зашевелилась контра в своих норах, обнаглели басмачи, а недобитые бап того и гляди вцепятся в горло. Ишаны и муллы тоже хороши: устрашают народ ужасными карами, слухи разные распускают. Обстановка — с ума сойдешь!

Первые дни мы заперлись у себя в общежитии, сидим по углам, трясемся, как мыши, плачем. А потом пришла Марфа Семеновна, обругала нас, пристыдила, сказала: «Сейчас не слезы лить надо — бороться нужно». Из наших курсантов организовали четыре бригады и отправили их

по аулам. Меня тоже в одну бригаду записали, винтовку выдали. Пригодилась—два раза на нас басмачи нападали. Отбились. А Кучкарбая ранили в грудь. До сих пор в больнице лежит. Обещают, поправится.

Что я там говорила в аулах на митингах, сама не припомню. Выйду перед народом, гляну на лица — дух захватит, в горло будто песок насыпали — слова застревают. А люди ждут, глядят на меня, перешептываются. Ну, наберу я воздуха побольше и — точно в омут. Ничего, выплывала. Товарищи говорят, получалось. Под конец наловчилась, полегче пошло. И еще я заметила: кончишь выступать, спрыгнешь с арбы или там с пастила какого, услышишь, что люди поверили в твою правду, и такая крылатая радость подхватит тебя.

Сейчас перелистала дневник. Недавние записи, а будто чужая рука. Надо ж такое придумать: «Для чего это, все? Писать, чтоб уметь писать? Читать, чтоб научиться читать? И только?..» Дура, ах, дура! Теперь-то я поняла, зачем человеку учиться, на что ему знания! И боже ты мой, как не хватало мне всех этих знаний, когда выступала перед людьми! Как убедишь? Нужны знания! Как правду свою перед хитрым муллой докажешь? Ведь правда-то наша! Чую, что паша, а доказать не умею — нет знаний. Вот для того и буду учиться — чтоб людям глаза на свет открывать. Это и есть самое главное. И в этом — так теперь понимаю — самое большое счастье. Потому что — для чего жив человек? А для того...

Написала вот и задумалась: какой дать ответ? А может, и нет такого ответа, чтоб один да на всех? Свое каждому. Что тому несбыточной сказкой мерещится, этому свалится — подбирать не захочет. Или так еще, заметила, бывает: вчера только о том и мечталось, чтоб найти, поймать ту жар-птицу, поймала — глядь, а она ворона. И опять за новой жар-птицей гонишься.

Ну, размечталась, намудрила я что-то. А если правду, одно мне сейчас нужно — девочку мою увидеть, с мамой встретиться. Доченька моя! Ты, наверное, совсем большой уже стала, ходить, говорить научилась? Давно нет от вас ни приветов, ни весточки. Ох, тяжело мне без вас, родные мои...»

«Подала заявление в большевистскую партию — Ленинский призыв. Сейчас иду на собрание. Страшно: а



«И вдруг не примут—байская дочь! Не знаю... Примите! Я клинусь всем святым—за ленинское дело, за новую жизнь все отдаю, все!»

«Какой радостный, замечательный день! Джумагуль Зарипова—член Российской Коммунистической партии (большевиков)! И от мамы известие: живы-здоровы. Передавал человек, козленочек мой все про меня спрашивает: где моя мама, когда мама моя придет? Доченька, доченька моя!..»

«Это я переписала. Дальше буду писать сама. Теперь и про дневник все понимаю. Вот она какая, Джумагуль! Интересная. И страдает сильно. Мне ее очень жалко. Она мне нравится. А что это она писала про покойного Айтбая? Выходит... Нет, этого не может быть...»

«Приехал человек из Мангита. Говорит, отец простил, хочет, чтоб я домой на несколько дней приехала. Я знала, что он простит меня. Он ведь очень хороший, мой папа, и добрый. Считаю дни, когда можно будет отправиться. Скорей бы уже. В школе говорят, я буду математиком. Эти маленькие звездочки на небе, которых много-много вместе, это, оказывается, Млечный Путь. Вот бы пройти когда-нибудь этим путем! Глупости! А все-таки мне так хорошо — дурачиться хочется. О аллах, спасибо тебе за все! С комсомольским приветом! Турдыгуль, дочь Танирбергена — хорошего человека и замечательного портного».

Ахун Нурумбет закончил чтение. Все, кто оставался в комнате, молчали, опасаясь отчего-то взглянуть друг другу в глаза. Даже егозливый Матджан и тот не проронил ни слова, ссутулился, сжал руки между коленями.

— Нет, не-ет! Сволочи вы все, сволочи!— прохришел в бреду Таджим и захлебнулся.

Нурумбет поднялся, произнес торжественно и зловеще:

— Пусть божья кара падет на голову вероотступницы. Смерть!

— Аминь!— откликнулись вразнобой сидевшие за дастарханом.

...Дуйсенбай возвращался домой окольным путем — след замести, все обдумать как следует. А подумать бы-

ло над чем. Великую честь оказал ему ахун Нурумбет: привести в исполнение вынесенный грешнице приговор. Нет, понятно, не сам Дуйсенбай должен был пробраться к ней ночью и воткнуть в сердце кинжал. Нет, ахун — мудрый-таки человек! — предложил другой путь: Турумбета отправить в Турткуль. А чтоб никаких подозрений, сказать — на учебу. Там-то он расправится с ней, как волк с бедным ягненочком. Спросят: «Как так, за что убил женщину?» Ответит: «Не я — ревность убила, не мог обиду стерпеть!» Все закононо, все чисто, басмачи ни при чем — любовное дело. Воистину мудрость не имеет цены... зато ценности приумножать умудряется. Больше мудрости в голове — побольше ценностей в кармане, меньше мудрости...

А вообще, если честно, жаль Дуйсенбаю эту несчастную. Конечно, и грешница она великая, и закон отцов престушила, и в том, что его молодая жена убежала, тоже она, Джумагуль, виновата. А все ж... Вот ведь странное дело: ненависть душит, готов зверем задрать человека, а глянешь на все глазом того человека — и будто это все перевернулось: черное белым стало, белое — черным. Как сегодня, когда писание этой проклятой смутьянки читали. Душу щемило. Стал сморкаться, чтоб ненароком кто слезы не заметил. Да, видит небо, как прикончит ее Турумбет, так Дуйсенбай в тот же час за нее аллаху помолится. Это уж точно.

Порешив с этим делом, почувствовав облегчение, Дуйсенбай стал обдумывать, как подойти к Турумбету, как объяснить ему, зачем тот должен отправляться вдруг на учебу — в то пристанище дьявола, которым его так страшали, откуда есть только одна дорога — в ад. Он перебирал и взвешивал в уме все возможности. Уже появились на горизонте вершины деревьев и крыши Мангита, а ясного плана у Дуйсенбая все еще не было.

8

От потери крови, от жгучей боли ран Туребай часто впадал в забытье. Сквозь тяжелую дрему он слышал, как плакала и причитала над ним Багдадуль. Потом в радужных кругах и разводах явилось перед ним женское лицо с большими немигающими серыми глазами. Чем-то

холодным и острым женщина коснулась спины в том месте, где соединилась вся боль, весь жар, все шити, стянувшие в комок, скорчившие его существо. Судорога передернула тело. Туребай потерял сознание.

Затем он явственно слышал русскую речь, негромкую, убаюкивающе мягкую. Ему захотелось открыть глаза, посмотреть, кому принадлежит этот голос. Но не было сил, и был страх—страх, что только он откроет глаза,— снова полоснет эта острая, нестерпимая боль. Когда-то, помнится, уже было такое. Было ведь, было... В детстве, кажется, давно, очень давно. ...Караванный стан, верблюды, посапывающие рядом, и чей-то добрый, ласковый шепот...

На третьи сутки Туребай очнулся, открыл глаза. Женщина, сидевшая у его постели, улыбнулась, спросила по-русски:

— Ну, как там, на том свете?

Туребай понял, с трудом ворочая языком, ответил:

— Не пустили. Говорят, пока порядка в своем ауле не наведешь, и думать про тот свет забудь.

— Правильно сказали. Придется жить.

— А как жить, когда жена меня такого любить не захочет?— через силу пошутил Туребай.

Стоявшая в углу Багдадуль разрыдалась, закрыла ладонями лицо.

С этого дня дело пошло на поправку. Наученная Галиной Андреевной, Багдадуль сама теперь перевязывала мужа, давала ему лекарства и при этом каждый раз с молитвенной благодарностью поминала имя спасительницы.

Возвращаясь в Чимбай, куда она была прислана из Ташкента полгода назад для организации медицинской службы, Галина Андреевна строго-настрого наказывала Туребаю: не вставать, не делать резких движений, не волноваться.

Легко сказать — не волноваться! Попробуй тут — лежи спокойно, когда такое творится вокруг!

Только распрощалась, уехала докторша, пришла к Туребаю Бибайым — лицо отекло, из-под платка выбились седые длинные пряди, дрожащие пальцы пляшут на посиневших губах.

— Изверги... изверги... Мало, убили дитя — похоронить по-мусульмански не дали. Бросили в землю, как собаку бездомную...

— Как так? — попытался приподняться на локте Туребай.

— Мулла Мамбет... не буду, говорит, молиться за вероотступницу — нет ей прощения ни на этом, ни на том свете... Пусть, говорит, душа ее черной вороной по стéпи носится до самого дня светопреставления... Доченька, доченька моя... — И лицо старухи свела гримаса страдания.

— Подлый шакал! — выругался Туребай и, весь загоревшись от гнева, в приступе мстительной ненависти сказал с силой: — Ничего, мамаша, ничего. Ты не плачь! Мы заставим его! Мы за шиворот притащим этого поганого муллу к могиле — пусть молится! Мы... — Что-то вязкое, тошнотное подступило к горлу. Туребай откинулся на подушки, закрыл глаза, судорожно глотнул воздух.

Он не знал, сидит ли еще Бибайым рядом с его постелью или ушла. В ушах, ни на минуту не затихая, стоял звон, будто здесь же, в кибитке, кто-то нещадно колотил брусом по железу. Казалось, от этого нестерпимого гула лопнут уши, расколется голова.

Что-то теплое, горькое, как настой полыни, влила ему в рот Багдадуль. Стало легче. Отдалился, в мерное жужжание перешел сумасшедший звон. И сразу почувствовал, как в груди разливается новая горечь: глупец, ай глупец! Чего наговорил бедной женщине? Заставим молиться, за шиворот к могиле притащим!.. Да разве такие слова должен был он сказать! Не хочет — не нужно, мамаша! Пустое это дело, молитвы. Потому что ни бога, ни райа нет — выдумки. Есть только одна жизнь — земная. Тут тебе весь твой рай, твой ад. Так ведь учил его Айтбай-большевой.

Желая исправить свою оплошность, Туребай через силу открыл глаза, позвал сильным голосом:

— Мамаша, а мамаша! Слышишь меня?

— Чего тебе, Турекс? Жену кликнуть? — отозвался низкий мужской бас.

Это был Орыпбай. Аксакал признал его сразу.

— Не надо... Бибайым тут сидела.

— Ушла... Новость слышал? Ахуна Нурумбета в зиндап посадили. Судить будут.

— Выходит, близость к богу от божьей кары не спасает...

— Тут такое открылось... — продолжал Орыпбай. — Крикун-то этот, с железной глоткой, — его человек, ока-

зывается! И другой, что вместе с портным убил Турдыгуль, — тоже из святой обители. Утек, не поймали. Ну, ничего, и под землей не спрячется. Все одно отыщем. А отыщем, как скорпиона, раздавим.

И зачастили люди в дом к Туребаю — Сеитджап, Каллий, Ходжанияз, Абдулла. Даже женщины навещали больного. Одна гостинец принесет, о здоровье справится, другая сама идет гостинец у аксакала выпрашивать. Один раз и Дуйсенбай в дом пожаловал: обида на соседа до первой беды живет. Посидел, поахал, проклятьями на голову бандитов обрушился. Все ладно так, хорошо у него получается, только глаза прячет, губы кривит патужливо.

— Что за время такое пришло — брат на брата зверем кидается? Раньше, бывало, барана зарезать рука не подымется. Нынче человека убить — будто высморкаться... А все злоба, злоба людская. Прорвала запруду, что богом поставлена, и хлынула, затопила всю землю. Не перехватим — все утонем в этом потоке, как слепые кутята. Все!

— А по-твоему так: они нас ножом, а мы к ним с ласковым словом? — не скрывая своей враждебности, ответил Туребай.

— Вот про то я и толкую: они вас один раз ударят, вы их — вдвойне, они за это четверых ваших прирежут, вы опять в долгу не останетесь. Так оно и пойдет. А чем кончится?

— Кончатся тем, что всех врагов уничтожим!

— Оно, конечно, врагов уничтожите, — миролюбиво согласился Дуйсенбай. — А вот лавину злобы, кровожадности тогда уж вам не остановить — поздно. Самих себя, друг друга тошнить в ней начнете.

— Умный говорит, что знает, глухой не знает, что говорит.

На том и кончилась их беседа.

Прошла еще одна неделя. Туребай уже мог сидеть. Но чем меньше давали знать о себе раны, тем более нетерпеливым и раздражительным он становился. И как только Багдадуль сносила его брюзжание, как хватало ей сил шуткой отвечать на резкости мужа?

— Отстап! Есть не буду.

— Ты погляди на себя — худой, как скелет комара. Ешь — скорее поправисься.

В другой раз Багдадуль доставалось за то, что глухие



речи соседки слупшала, не оборвала — согласно поддакивала. Соседка—женщина лет сорока, тихая, забытая --- про Турдыгуль говорила:

— Потому что, душа моя, каждой твари аллах свой удел назначил. Верблюду — ношу таскать, собаке — доброе хозяйское сторожить, соловью — песни петь. А ну попробуй черепаха скинуть свой панцирь! Так и женщина. Кого тут винить, что вздумалось ей воле отца перечить, на учебу эту греховную убежать? Перестушила черту, которую аллах для нас положил,— вот и вышло... Нельзя нести на голове поднос и глядеть в небо.

Третьего дня Туребай велел жене позвать Орынбая, Калия, Ходжанияза, Сеитджана. Когда те собрались, сказал:

— Не знаю я, братья, хороший из меня аксакал или, может, для того не гожусь. Одно знаю: арбу не сдвинешь — сама не побежит. Вот и позвал я вас — двиньте, подымите народ, нельзя так сидеть, один одному старую байки рассказывать. Как на угольях лежу: строить канал — бросили. Дом хотели поставить — отступились. Как дальше-то будем?

Разговор затянулся до ночи — как людей подымать, где взять руки в весеннюю пору для прокладки канала, кому строить дом. Прикидывали, подсчитывали, намечали, что кому делать. Уравновешенный, рассудительный Орынбай все загибал да загибал пальцы. Калий горячился, размахивая короткими ручками, петушком насккивал на него.

— Ну, если на канале не хватит людей, взять с поля.

— А кто на поле останется?

Опять не получалось.

Выход подсказал Ходжанияз:

— А давайте, сколько нужно, за счет Дуйсенбая наймем. Нам, батрачкому, властью такое право дано.

Поддержали.

— А сколько?— спросил Туребай.

— Думаю, десять наймем — не обеднеет,— предложил Сеитджан.

— Десять! На него двадцать положить, и то мало,— горячился малютка Калий.

По предложению Ходжанияза согласились на двенадцати.

Затем говорили о постройке большого дома, о том, где доставать материал, кому сколько отработать положено.

Под конец Туребай затеял было разговор об отправки молодежи в турткульскую школу — по разнарядке из округа в эту весну трое должны были ехать из Мангита. Однако ни Орынбай, ни Калий, ни Сеитджан разговора не поддержали. Один молча покручивал ус, другой надолго закашлялся, третий спокойно, неторопливо попивал чай, будто его этот вопрос никак не касается: слишком свежа была еще в памяти картина убийства танирбергенной дочери. И только Ходжанияз, у которого детей не было, поддержал Туребая:

— Думаю так: у кого ребят мало, того трогать не будем. Пускай отдадут на учебу те семьи, где много детей: одним больше, одним меньше — не сразу и заметишь.

— Ерунду городишь! — осуждающе глянул на него Туребай. — По-твоему, так выходит: что на учебу слать, что на кладбище отнести.

— Это не у меня, Туреке, — в самом деле так получается. Не я виноват.

— Ладно. Вижу, до того застращали вас: веревку увидите — змея чудится. Да если б не вы, молодых и уговаривать не нужно — сами б вызвались ехать.

— Эх, аксакал, новорожденный теленок и тигра не боится, вот вырастут рога — будет бояться и волка, — ответил за всех Сеитджан.

Весь следующий день Орынбай, Калий и Сеитджан ходили из юрты в юрту, разговаривали с людьми, растолковывали, какая будет каждому польза от постройки капала, оттого, что поставят большой дом. Истосковавшиеся за зиму по настоящему делу, приободренные поимкой посланца аллаха, дехкане с готовностью откликались на слова агитаторов. Многие, накинув чапаны, присоединились к Орыбаю, Калию или Сеитджану, и в следующий дом шли сначала вдвоем, втроем, вчетвером, а под конец целым гуртом.

Ходжанияз в это время договаривался с Дуйсенбаем об условиях найма батраков. Разговор был не простой и не быстрый. Каждая сторона присматривалась, процунывала собеседника, исподволь приближаясь к главному. Наконец, как следует запугав противника туманными намеками и недомолвками, Ходжанияз перешел к сути.

— Конечно, будь моя воля, Дуйсеке, я б и волоса

взять не посмел с головы вашей... кобылы. Но власть приказала! Видит бог, я стоял за вас, как сын за родного отца, за ваших кобыл, за волосы ваши! Потому что — кто же не знает того? — в каждом из них частица великой мудрости!

— Спасибо, сынок! — с притворным умилением поклонился Дуйсенбай, продолжая настороженно следить за маневром противника. А противник, раскрывши объятия, пошел на хозяина:

— Да, Дуйсеке, обнимите меня! Обнимите покрепче: Ходжанияз, непутевый сын святого ишана, спас вчера все ваши богатства! Почти все...

Дуйсенбай помолчал выжидательно, мягко освободился от рук своего заступника, сказал с хорошо пангранным безразличием:

— Какие богатства, душа моя, ничего от них не осталось! Все по ветру пошло. И ладно. И пусть. Доживешь до моих годов, поймешь, как и я, — нет в нем счастья, в богатстве, — тлен, прах презренный.

Ходжанияз поглядел на Дуйсенбая внимательно: хитрит или рехнулся на старости лет? Не найдя в глазах Дуйсенбая никакого ответа, продолжал игру.

— Того, кто говорит, что презирает богатство, я, Дуйсеке, считаю лжецом. Конечно, пока он не представит мне убедительных доказательств. Ну, а если представит, и я поверю в искренность его слов, тогда уж твердо могу сказать: нет, простите, не лжец он — дурак!

Не дождавшись ответа Дуйсенбая, Ходжанияз продолжал наступать:

— Да, богатство — грех перед богом, бедность — перед людьми. Вот и раскинь теперь мозгами, как тут быть. Кто воздаст за грехи? Бог. Кто помиловать может? Один только бог! Перед ним и грехи!

Совсем запутал Дуйсенбая этот непутевый, словами обмотал, как муху паутиной. Послушаешь его — выходит: грехи перед тем, кто наказать за грехи либо помиловать может. А что, не так уж и глупо. Нужно запомнить, подумал Дуйсенбай и спросил:

— В чем же ты согрешил перед богом?

— Солгал, отец, тяжко солгал... Вчера собралась, кричит эта шантрапа: отобрать у него — это, душа моя, значит, у вас — отобрать все, что есть: земли, стадо, дом, деньги...

Дуйсенбай побледнел, непроизвольно схватился рукой за горло.

— Ну! — подстегнул нетерпеливо.

Ходжанияз достал из поясного платка кисет с табаком, бросил щепотку под язык, блаженно зажмурился.

— Ну! — требовательно повтэрил Дуйсенбай.

Ходжанияз хлопнул себя по груди, произнес шепеляво:

— Щитом вашим штал!.. Вот, как вы шейчас, так и я там: нет, говорю, больше у него никакого богатства. Все прахом пошло!.. О милостивый и милосердный, прости наши грехи!

— Простит. Дальше что было?

— Поверили.

Дуйсенбай вздохнул с облегчением, и тут Ходжанияз быстро, как нож в жертву, вонзил:

— Велели только за ваш счет двадцать батраков на рытье канала нанять.

— Двадцать?! — всплеснул руками Дуйсенбай.

— Ровно двадцать, — спокойно, даже с каким-то безразличием подтвердил гость.

— Больше семи никак не могу.

Так пачался торг. В конце концов сошлись на двенадцати. Правда, за то, что Ходжанияз спас вчера Дуйсенбая от худшего, а сегодня скинул с его плеч оплату восьми лишних ртов, хозяин, уразумев тонкий намек батрачкама, пообещал в ближайшние песколько дней поставить ему новую юрту. Расставались друзьями, очень довольные друг другом. Ходжанияз прямо с порога кинулся в дом к Туребаю.

— Поздравь, аксакал: все из этого живодера вырвал — как договорились вчера, двенадцать поденициков оплачивать будет! Ну, намучился с ним!

— Молодец, батрачком! — протянул ему здоровую руку аксакал.

А Дуйсенбай, выпроводив Ходжанияза, тут же послал своего человека за Турумбетом: пужно было исполнять наказ ахуна.

Весть об аресте Нурумбета приносит насмерть перепуганный Матджан. Вместе с ахуном он ездил в Чимбай, ходил с ним по разным домам и лавкам, где Нурумбет заговорщически о чем-то перешептывался с хозяевами.

До стоявшего поодаль Матджана долетали только обрывки фраз, отдельные слова: «...через иранскую границу...», «вшитовки-инглиз...», «собрать все в кулак...» Он не вникал в смысл услышанных слов, не любопытствовал, о чем идет у них разговор. Зачем? Если понадобится, ему скажут, скажут -- исполнит.

Входя в один из домов, ахун приказал Матджану: «Жди здесь». Через час Нурумбет вышел на улицу в сопровождении двух дюжих молодцев в широких папахах, перехваченных красной лентой, с паганами на боку.

Матджан не стал дожидаться, пока молодцы обратят внимание и на его ничтожную личность. Он выбрался на южный тракт и, уцепившись за пастил попутной арбы, зашагал по глинистой жижке в сторону Мангита.

Дуйсенбай был первым, кому он сообщил печальную новость.

Наскоро накормив и напоив тщедушного вестника скорби, Дуйсенбай стал его поторапливать:

— Иди в рощу, сообщи Таджиму. Опасно там оставаться. Взяли ахуна — придут по следу и к его обители. Всех там накроют.

Двойственное чувство испытал Дуйсенбай, размышляя над тем, что сообщил ему Матджан-недомерок. С одной стороны, жаль, конечно, ахуна — такой седой, мудрый, благообразный. Кто теперь донесет до паствы слово и закон божий? Рушатся столпы веры. Так пойдет, скоро и вовсе держаться ей не на ком будет... Но, с другой стороны, какой же должник плачет при смерти своего кредитора? А долгов перед ахуном, ой, немало у Дуйсенбая: и нукеров каждый раз ему давай, и корми этих нукеров, теперь другое придумал — Турумбета на учебу послать. Ну, благодарение богу: кредитор в могилу — и долг туда же!

Радость Дуйсенбая оказалась, однако, преждевременной: на следующий день, только спустились сумерки, явился к нему Таджим. Бледный, обросший, он одним своим видом испугал Дуйсенбая, а когда приступил к разговору, у того и вовсе сердце зашло от жалости к несчастному Нурумбету. Таджим напомнил хозяину обо всех его долгах и обязанностях, посулил богатства и славу в день близкой победы, пригрозил страшной мезтью, если вздумает Дуйсенбай отступить.



Слушал его Дуйсенбай, преданными глазами разглядывал обтянутые желтой кожей скулы, а сам наливался злостью. Надоело! Все надоело! И эти несбыточные посулы, и угрозы, и льстивые уверения. Одни за решеткой сидят, другие волками по степи рыщут, третьи в кустах затаились, а все на что-то надеются, обещают! Лжецы! Бесильны они вернуть пропавшее. Так пусть хоть оставят в покое. Не может больше жить Дуйсенбай такой жизнью! Тапирбергена схватили — бойся, не спи по ночам, мучайся! выдаст — не выдаст. Ахуна поймали — опять трепещи, не назвал бы там твоего имени. Турумбета в набег снарядил — пока целым вернется, глаза высмотришь. Надоело! Потупился, сжал кулаки, сказал:

— Как обещано было, так и будет.

Три дня таился у него в доме Таджим. На четвертый уехал, пообещав скоро вернуться с новым большим отрядом, который идет с той стороны.

«С той стороны, с той стороны», — не раз слышал Дуйсенбай эти слова. А что они значат? Из-за Аму? Из туркменских степей? На этот раз догадался: из-за границы, из Персии, Индии, из заморской страны, где живут англызы.

— Ох, не кончится это добром! — вздыхал Дуйсенбай, обдумывая открывшуюся ему тайну. — Где это видано, чтоб спасения родному краю у чужестранцев искать? Налетят, как шакалы, пойдет земля полыхать пожарами, женщины в свои гаремы погонят... — и, представив себе эту картину, заключил неожиданно: — А, пусть жгут, пусть грабят. Не мне — так пусть никому не достанется!

Турумбет явился молчаливый, угрюмый. Таким еще никогда не видал его Дуйсенбай. «И у этого тоже какие-то причуды. Подлаживайся к нему. Тьфу, да пропади ты пронадом со своими причудами!» — мысленно выругался хозяин, любезно привечая Турумбета.

Неторопливо, как опытный охотник, обкладывал Дуйсенбай своего гостя — то с одной стороны зайдет, то с другой. Где-то к вечеру, после жирного обеда и обильного чаепития, подошел к цели.

— Этим большевым, им все известно про то, что у нас делается, замышляется, — своих людей в наш стан засылают. А мы что? Нам тоже надобно проведать их тайны. Потому как крепости, сынок, изнутри берутся... Поедешь, будто своей волей захотел, на учебу. Узнаешь, чему там

людей обучают, каким дальше путем идти собираются. Узнаешь — нам передашь, мы на этом пути засаду им как раз и устроим. Понял, душа моя?.. Ну, вот и ладно, вот и добро... Заодно и с женой своей бывшей встретишься. Может, простила тебя, в родной дом вернется?..

Дуйсенбай знал, чем задеть, раздражить Турумбета: да как это ему, мужчине, ждать от жены прощения?! Турумбет подобрался, кинул на хозяина диковатый взгляд.

— Моя жена — сам с ней и разберусь. Кому прощения просить, кому миловать — моя забота!

— Ты не сердись, не сердись на меня, Турумбетджан, — поспешно откликнулся Дуйсенбай. — Будь ты мне чужой, какой-нибудь посторонний, стал бы я разве о том говорить? Просто душа у меня за тебя болит... за то, как она, беспутная, перед людьми тебя унизила. — И, чтобы подтвердить искренность своих слов, он тяжело вздохнул.

Против ожидания Турумбет очень легко согласился с предложением ехать в Турткуль на учебу. Был ли тут причиной сытный обед, который предшествовал их разговору, разыграла ли мстительная ревность покинутого мужа или, может, что-то еще — какое Дуйсенбаю дело! Важен результат. А результат — пусть хоть Таджики приедет, хоть ахун Нурумбет призраком явится: как обещал Дуйсенбай, так и сделано...

## 9

Туребай еще только-только начал ходить, когда Септджан, сдвинувший по своим делам в город, передал ему: вызывают, будешь отчитываться перед окрисполкомом. Багдадуль попыталась было удержать мужа — слаб еще, едва на ногах держишься, — но Туребай не стал ее слушать: собрался, запряг коня в арбу, на рассвете тронулся в путь.

Он ехал спокойный, перебирая в уме все, что расскажет в окрисполкоме. Постройка канала идет полным ходом — будет готов к первому поливу хлопчатника. Площади, которые в прошлом году отобрали у бая, засеяны, хлопчатник дал хорошие всходы. В самом центре аула поднимается коллективный дом членов ТОЗа. Правда, не

выполнили разрядку по отправки людей на учебу — должны были троих в школу послать, ни один не поехал. Плохо, конечно, да что тут поделаешь, если такие напасти: сначала этот посланник аллаха, потом убийство Турдыгуль... Зацугали народ. Не похищать же девушек из дома да по ночам на аркане тянуть их в Турткуль на учеение! Ничего, пройдет время—все наладится, успокоится, тогда и пошлем.

Так рассуждал Туребай по дороге в город, не ведая, не гадая, какая ему там приготовлена встреча.

Пока в кабинете председателя обсуждались другие вопросы, Туребай ждал в приемной. Вместе с ним находилось здесь еще несколько человек — кто из угла в угол мерял комнату неторопливыми шагами, кто, как и Туребай, скромно сидел у стены.

Вызывали в кабинет по одному. Человек заходил туда спокойный, раскланиваясь, дабы показать, какое уважение он питает к собравшимся, или горделиво вскинув голову, дабы сразу стало ясно, с каким уважением он сам относится к себе, а стало быть, и они должны к нему относиться. Входили каждый по-своему, все разные. Появлялись из кабинета все одинаковые — раскрасневшиеся, взволнованные, Туребаю показалось, даже испуганные какие-то. Что с ними там делали, отчего, недолго побыв в кабинете, люди преображались, Туребай понять не мог.

Пришла и его очередь. Скинув панаху, оправив поясной платок на халате, аксакал вошел в кабинет.

В большой прокуренной комнате, где Туребаю однажды уже пришлось побывать, было много людей — знакомых и незнакомых. Рядом с Нурсеитовым, председателем окрисполкома, за темным массивным столом сидел Баймуратов — секретарь окружкама партии, подальше — Ембергенов и Курбаниязов, как обычно, в своей белой фетровой шапочке, а в самом углу — заведующий округом Нурутдин Маджитов, которого Туребай знал уже несколько лет. У окна, вдоль стены, сидели еще какие-то люди, но лиц их разглядеть аксакал не мог — мешал свет, падавший на них сзади. Заметил только, что есть среди них женщина.

— Туребай Оразов, председатель аулсовета Мангит, — отрекомендовал Нурсеитов и потребовал: — Прошу отчитаться в проделанной вами работе.

Не понравился этот тон Туребаю. Ну, где это видано, чтоб, даже не поприветствовав человека, не расспросив его, как положено, о здоровье, о доме, сразу к делу? Не понравилось и то, как сказано это было — строго, резко, неприязненно, будто не красный аксакал, свой человек, вошел в комнату, а какой-нибудь бай или ишак — классовый враг. Решив, что так, наверное, здесь заведено, Туребай неторопливо и обстоятельно стал рассказывать о делах в родном ауле. Но только он успел сказать о канале, об организации ТОЗа, как Нурсеитов его перебил:

— Все это, товарищ Оразов, нам известно. Расскажи лучше, почему на учебу никого не направил, план по всему округу сорвал.

Туребай стал рассказывать про явление посланца аллаха, про убийство Турдыгуль. Но довести свой рассказ до конца ему снова не дали. Кто-то из сидевших за столом чуть ли не крикнул на Туребая:

— А ты где был, почему с этими темными настроениями не боролся?

Туребай разозлился, ступил шаг вперед, тоже повысил голос:

— Хотите слушать — расскажу все, как было, а нет — зачем вызывали?.. — Помолчал, добавил спокойней: — И кричать на меня нечего — сам умею.

Несколько секунд в комнате было тихо, потом Курбанниязов сказал:

— Нетерпимое отношение к критике. Зазнался.

Туребай повернулся, готовясь и Курбанниязову ответить как следует, но его опередил Баймуратов:

— Не будем ссориться, товарищи. Давайте по существу, — и уже к Туребаю: — Почему вы сразу не пресекли этот маскарад со святым духом?

Легко сказать — сразу. Так, будто посланец аллаха сидел в чайхане и ждал, когда его схватят! Туребай с обидой подумал о своей ране, о том, что, отправляясь сюда, где-то в глубине души надеялся на похвалу за свою отвагу и мужество, но уж никак не ждал разноса. Несправедливо. Пересилив обиду, ответил с усмешкой:

— Мы б, конечно, сразу взяли его, да он, подлец, убежал.

— Вас вызвали сюда, товарищ Оразов, не шутки шутить! Здесь заседание исполкома, а не аския, не соревнование остроловов,

— Понимать пужно!— набросился кто-то на аксакала теперь с другой стороны.

Туребай почувствовал, как лицо его наливается краской, промолчал.

— Как случилось, что дочь портного оказалась в ауле? Кто ее вызвал из города?— спросил Курбаниязов.

— Я ее вызвал.

— Зачем?

— Мать просила, хотела дочь повидать.

— А ты?— пристрастно допытывался Курбаниязов, и Туребаю подумалось вдруг, что все это больше походит на суд, нежели на отчет перед своими товарищами, как не раз пазывали себя на собраниях, где аксакалу доводилось присутствовать, и Нурсеитов, и Курбаниязов, и другие. Но вслух говорить об этом Туребай не стал. Глядя прямо в глаза Курбаниязову, ответил:

— А я думал, приедет, расскажет молодым, как там в школе. Может, и другие за ней потянутся. Агитация.

— Так...— многозначительно постучал пальцем по столу председатель.— Значит, о замышлявшемся убийстве тебе действительно ничего заранее не было известно?

Издевается, что ли, или на самом деле в чем-то подозревает Туребая? Это догадка возмутила аксакала. Он оглядел собравшихся, будто ища заступничества, но все молчали, и тогда, не найдя ничего лучшего, он крикнул:

— Да чего тут спрашивать! Для того и зазвал из города, чтоб убили. Специально. И портного сам подговаривал — убей, мол, убей!..

— Это что же, признание?— сурово сдвинул брови Нурсеитов.

Туребай растерялся, беспомощно опустил руки.

И тут женщина, до сих пор молчаливо сидевшая у окна, пришла ему на помощь.

— Считаю, этот допрос аксакала Мангита оскорбительным. Я знаю товарища Туребая Оразова много лет и могу поручиться...

Это была Джумагуль! Туребай узнал ее, как только она поднялась, как только заговорила. Значит, она теперь здесь, в Чимбае? И сразу он почувствовал, как отлегло от сердца, почувствовал, что больше ему бояться нечего, и все, в чем хотят его уличить Нурсеитов, Курбаниязов и кто-то еще,— все это вздор, чепуха! Он поднял поинкшую было голову, дерзко, с вызовом посмотрел на пред-



сидателя и не желая больше стоять перед ним навзрыжку, вернулся к своему стулу у стены, сел.

А Джумагуль продолжала:

— У нас нет ни оснований, ни права в чем-то его подозревать. Другое дело, со всей мерой строгости спросить с товарища Орозова за благодушие, за потерю политической бдительности — это да. А напускать туман и в этом тумане кружить человека, сбивать его самого и окружающих с толку — пустое дело. Выяснению истины не поможет.

Слово взял Курбаниязов.

— Конечно, товарищ Зарипова четыре года училась в школе. А мы люди темные. Но послушаешь, что говорила тут товарищ Зарипова, и поневоле задумаешься: а чему их учат там, в этих самых институтах? Может, учили вас там, что революция — это никакой пощадки классовой гидре? Железная дисциплина и — точка? — И сам же ответил на свой вопрос: — Похоже, не учили... Так вот, в том, что произошло в ауле Мангит, я целиком вию его аксакала Орозова...

Тогда в защиту Туребая выступил Ембергенов — он ездил в аул после поимки «посланца аллаха», сам на месте расследовал убийство дочери портного, лично допрашивал Тапирбергенова и должен со всей ответственностью заявить, что никаких фактов, которые бы свидетельствовали о прямом или косвенном соучастии в этом деле Туребая Орозова, нет.

Затем говорил Нурутдин Маджитов. Он тоже считает, что взваливать вину за все происшедшее в Мангите на аксакала — значит уйти от поисков и наказания действительных виновников преступления.

— Что же касается лозунгов, которыми так легко бросается товарищ Курбаниязов, то ими нужно уметь пользоваться в интересах революции, а не во вред ей! — горячо говорил Маджитов. — Да, мы должны быть бдительны и педантичны там, где дело имеешь с классовым врагом. Но нельзя допустить, чтобы бдительность превратилась в подозрительность, которая рождает призраки и заставляет опасно коситься на друзей, на классовых соратников. Это страшно уже само по себе, но, кроме того, такое недоверие, оскорбляющая подозрительность ожесточают людей, создают настроения, чуждые самому духу социалистической революции.

Туребай вышел из кабинета потный, раскрасневшийся: выговор — за проявленную беспечность, за срыв плана по отправке молодежи на учебу.

Дождавшись на улице конца заседания, он подошел к Джумагуль, крепко пожал ей руку.

— Спасибо. Если б не ты, не знаю, что б со мною было.

— Бросьте. Расскажите лучше, как вы там, какие новости в ауле.

Туребай пошел ее провожать, рассказывая по дороге обо всем, большом и малом, что произошло за это время в Мангите. Джумагуль расспрашивала о Багдадуль, о знакомых, которые оставались в ауле, о Дуйсанбае. Только о Турумбете не вспомнила, будто и не было его вовсе, никогда не знала такого. Потом пришел черед Туребай задавать вопросы.

Нет, Джумагуль не закончила школы. В парткоме, куда ее вызвали, разговор был короткий:

— Хотели через год, когда школу закончишь, в Ташкент отправить тебя, в университет, да вот не получается. Придется ехать в Чимбай, заведовать женотделом в окружкоме. Временно, конечно. Подберем человека, будешь учиться дальше. Согласна?

Джумагуль согласилась. Через несколько дней вместе с дочерью она уже была в Чимбае. Баймуратов — секретарь окружкома — встретил ее приветливо, помог с квартирой, рассказал, какая работа ждет ее на посту заведующей женотделом.

С людной улицы Джумагуль и Туребай свернули в узкий извилистый переулок, с обеих сторон огражденный высокими глухими дувалами. На маленькой площадке с дуллистым, раскоряченным чинаром в центре играли дети. Завидев Джумагуль, смуглая, шустрая девчушка бросилась ей навстречу, повисла на шее.

— Мамочка, мама! — и затараторила: — А Хаким забрал у меня яблоко! Я сказала, ты придешь, заберешь у него яблоко. А он его съел. А еще мальчишки кидали в нас камнями. Один, такой большой...

— Постой, постой! — остановила ее Джумагуль. — Ты бы с дядей поздоровалась. Узнаешь?

Тазагуль посмотрела на Туребай, лицо ее выразило удивление и радость одновременно.

— Дядя, дяденька Туребай!..

Потом мать и дочь поили гостя чаем. Девочка, которой исполнилось уже пять лет, усевшись к Туребаю на колени, тыкала пальчиком в раскрытую книгу и с нескрываемой гордостью произносила названия букв.

— Это мама меня научила.

— Молодец твоя мама. И ты тоже умница. А меня не научишь?

Тазагуль подирыгнула от радости:

— Давайте, давайте, дяденька!

— Поздно, — с сожалением отказался Туребай, и неприятно было, поздно ли заниматься этим сегодня — за окном сгущались сумерки — или поздно постигать ему мудрость наук вообще, в его без малого сорок лет.

Вместе с дочерью Джумагуль проводила Туребая до ворот, кренко, по-мужски, пожала руку, пообещала на прощание:

— Скоро приеду к вам. Встретите?

Вернувшись в аул, Туребай первым делом приказал собрать народ. Когда люди сошлись, сказал:

— Земляки! Большие начальники, которые меня вызывали в город, велели передать вам горячий большевистский привет!

— Спасибо! И ты им при случае тоже, от нас, пламенный! — откликнулся, паясничая, как обычно, Ходжанияз. — А больше ничего не передавали — зерно или ковры, или там какой десяток быков? Нет? Жаль...

— Замолчи! — оборвало Ходжанияза сразу несколько голосов. — Говори, аксакал.

— За то, что канал строим, за дом, который тозовцы ставят, — за это нас похвалили, сказали — правильно свою власть понимаете. Потому что власть эта для того завоевана, чтоб трудовому народу хорошо жилось. Ну, а за то, что на учебу никого не послали, план по этой линии не выполнили, — за это, товарищи, выговор нам. Ругали очень даже обидными словами. Как будем дальше, спрашивали. Вот и собрал я вас, чтоб, значит, вместе подумали да решили, что делать будем, какой ответ держать перед Советской властью...

Долго никто не хотел говорить. Отмалчивались. Отводили глаза в сторону.

Аксакал не торопил, терпеливо ждал, пока заговорят сами.

И вдруг из задних рядов раздался женский голос:

— Я скажу.— Это была Бибиайым.

— Говори, послушаем,— повернулся к ней Туребай.

— А я скажу, темные мы, слепые люди! Новая власть добра хочет нам, к свету ведет, а мы, как тот козел, упираемся, от собственного счастья нос воротим. Дак что же, на аркане, что ли, в рай нас тащить, если собственной пользы не понимаем?.. Теперь про учебу скажу. Я так понимаю, не для себя старается новая власть, чтоб наши дети грамоту знали, чтоб перед ними весь мир открылся. Не для себя — для наших же детей старается. Чего вы боитесь, зверем затравленным глядите на нее, на учебу? Странно? Убьют? А жизнь в темноте, в невежестве, в побоях, она лучше смерти?

— Ей что? Ее дочь зарезали — чужих не жалко, хочет, чтоб и с другими так же! — донеслось от двери, где сгрудились женщины.

— Неправда! — выкрикнула Бибиайым. — Была бы жива моя девочка, сама б теперь наказала ей: езжай в город, учись, будь человеком!.. Да некому мне сказать.

— Сама б поехала, — посоветовал кто-то с ехидцей.

— Поехала б — поздно... — Подумала, заявила решительно: — Самой-то мне поздно, а вот племянника своего, Абдуллу, сама повезу в город — пусть учится, ума-разума набирается... И вот что еще сказать хочу, земляки: все добро, что осталось у меня после портного, — будь проклято во веки веков его имя! — все, что есть у меня, отдаю на прожиток тем джигитам и девушкам, которые на учебу поедут. Так и знайте!

Сначала по чайхане, где собрались люди, прокатился тихий шепот. Потом он перерос в сплошной гул, в котором одобрительные возгласы смешались со злобным шиканьем, хвала — с руганью. Кто-то тонал, кто-то поднялся с места и, размахивая руками, кричал.

Туребаю с трудом удалось уговорить разыгравшиеся страсти.

— Что Абдуллу решила на учебу отправить — дело доброе, — сказал он, когда в чайхане стало потише. — А сам-то Абдулла согласен?

Из задних рядов ответил звонкий юношеский голос:

— Хоть сегодня поеду. Только б напарника мне — вдвоем веселее!

— Ну, кто с Абдуллой? — обратился Туребай к людям.

В разных концах помещения зашевелились, загомонили. Десятки маленьких человеческих драм разыгрывались в отрывочных фразах, наполненных мольбой и ненавистью, надеждой и отчаянием, в быстрых, лишь на мгновение скрестившихся взглядах, в резком взмахе руки, крутом повороте шеи. Это были короткие схватки между людьми самыми близкими — отцом и дочерью, сестрой и братом, женой и мужем. И потому, что все они старались решить свой раздор в тайне от чужих, посторонних глаз, незаметно, не привлекая внимания, схватка эта становилась еще острее и напряженней. «Ты не посмеешь!» — кричал немой взгляд отца. «Поеду, поеду!» — отвечали упрямые глаза дочери. «Нет!»

Туребай, стоявший на возвышении, видел все. Он видел, как рванулась вперед Нурзада — старшая дочь Кадия — и как отец кренко схватил ее за руку. Видел борьбу, которая происходит в семье Сеитджана.

Отклик пришел оттуда, откуда его никто не ждал. Поднявшись во весь могучий рост, Турумбет громко сказал:

— Я поеду!

— Ты? — удивился, не поверил Туребай и поглядел на Турумбета внимательно: шутка, хитрость, какой-то подвох — чего тут ждать?

Но Турумбет повторил серьезно и твердо:

— Поеду, если пошлете...

И снова зал загудел, разразился десятками голосов.

Третьей, вырвавшись из рук Сеитджана, смело ступив вперед, назвалась шестнадцатилетняя Гульджан.

Еще три человека уходили из аула в неведомую, полную надежд и опасностей жизнь, за которую кровью платили одни, в которую метили из засад другие.

## 10

Говорят, чужая беда — с чирей, свой чирей — действительно беда. Может, оно и так, если из всех звуков мира слышишь только собственный голос. А если не так, и ухо твое способно слышать не только то, что звучит внутри, но и то, что доносится извне? Тогда, случается, своя беда отступает назад, прячется в глубоких закоулках души — чужая боль становится твоей собственной. Легче от этого



человеку или, может, после того как он вберет в свое сердце чужие страдания и соседские беды, ему придется многократно трудней? Дело не в этом. Дело в том, что только эта способность делает его человеком.

Вернувшись через несколько лет в Чимбай, в город, с которым связано так много воспоминаний, Джумагуль первые дни ходила по улицам, узнавала и не узнавала знакомые перекрестки, торговые ряды, площадь. В памяти всплывали печальные и смешные, тревожные и светлые картины былого. Но рядом вызревало какое-то новое, неизвестное чувство. Была ли то досада на прошлое? Нет. Сожаление об ушедших годах юности? Нет. То было чувство недовольства. Недовольства своей тогдашней поглощенностью собой и только собой, сосредоточенностью на собственной персоне, собственной беде и боли. Сегодня она называла это черствым, непростительным эгоизмом, ругала и судила себя...

Джумагуль ходила по улицам и, взглядываясь в лица женщины, идущих навстречу или толпившихся у какой-нибудь бакалейной лавки, думала о том, как изменить и переделать их жизнь, так хорошо известную ей самой, как избавить их от тирании вековых обычаев, открыть перед ними дорогу к свету и счастью. И за всеми этими мыслями стихала боль по матери, которую она недавно похоронила, отходили на задний план горестные раздумья о собственной своей женской доле.

В первый день, как только Джумагуль появилась в окружном партин, Баймуратов, усадив ее напротив, сказал:

— Понимаю, женотдел для тебя дело новое. Для нас — тоже. Не нужно распыляться. Первое: женщины должны узнать о своих законных правах, научиться ими пользоваться. Таким образом, на тебя ложится обязанность агитатора и высшего судьи по всем вопросам морали и быта. Второе: через школу и коллективный труд вовлекать женщин в общественную деятельность, организовывать и воспитывать их. Третье: личный пример. Кстати, ты замужем?

— Нет... Разошлась.

Баймуратов внимательно, и как показалось Джумагуль, с каким-то сомнением посмотрел на нее, произнес задумчиво:

— М-да, нелегко тебе здесь придется... нелегко...

Он сам проводил ее в другой конец коридора, открыл дверь в пустую петопленную комнату и, усадив за старинный стол с львиными лапами вместо ножек, напутствовал шуткой:

— Такой стол — львиная доля успеха.

Джумагуль один за другим осмотрела ящики стола, но ничего не обнаружила там — ни клочка бумаги, ни какого-нибудь карандаша, ни даже обрывка газеты. А так хотелось найти хоть какую-нибудь завалиющую безделицу. Ведь это означало бы, что здесь уже кто-то думал, работал, и ей остается только продолжить начатое уже кем-то другим.

Начинать приходилось сначала.

За осмотром стола и застал ее первый посетитель. Огромного роста мужчина в теплом халате, распахнутом на груди, в черной размером с добрый котел каракулевой папахе протиснулся в дверь. Не сказав ни слова, он установился на Джумагуль и умиленно разглядывал ее куртку, лицо, руки.

Джумагуль не выдержала:

— У вас ко мне дело? Говорите.

Лицо посетителя расплылось в широкой улыбке.

— Не признаешь? Отамбет я, Отамбет-палваном люди зовут. Из Еркин-Дарьи. Забыла? Помню, девчонкой-оборышем бегала. Не узнать!

В памяти Джумагуль шевельнулось далекое смутное воспоминание: аул на берегу широкой реки, двор Кутымбая, по которому девочкой бегала она, загоняя коров, холодная юрта, где вместе с матерью прожила несколько лет. В первое время, увидев Отамбета, Джумагуль торопилась куда-нибудь спрятаться: громадный рост, ручки, громоздочный голос палвана внушали ей страх. Затем она узнала Отамбета поближе и больше не боялась его — это был добродушный, немного застенчивый человек, покорно сносивший постоянное подтрунивание земляков, готовый прийти на помощь всякому, кто попросит.

— А я, понимаешь, думаю, что это за такая начальница Джумагуль объявилась? А она вот кто оказывается такая — наша! — гудел Отамбет. — Ну, слава аллаху, что привелось с тобой встретиться!

— Как вы там живете? Что в ауле? — пододвинула стул, усадила посетителя Джумагуль.

— Про то и пришел тебе рассказать. Баймуратов послал. Говорит, теперь есть у нас специальный человек по этой, по женской, части — Джумагуль Зарипова, к ней и иди. Она с тебя шкуру и спустит — страшная женщина.

— За что с вас шкуру-то снимать? — улыбнулась, не поверила Джумагуль.

— А за то, что и в этот год молодых на учебу не послали. И добрым словом заманивал, и кулаком страшился — не идут, хоть ты тресни! Ну, с этими бы, с итепцами, я б еще так-сяк сладил — старые воробыи не подпускают: такой писк подымут — на всю округу и клюют тебя своей стаей.

Долго и обстоятельно рассказывал Отамбет о жизни родного аула. Заброшенный в степи, отрезанный от ближайшего города многими километрами трудных дорог, отгороженный от мира рекой с одной стороны и турангиловыми рощами — с другой, аул жил под страхом постоянных басмаческих набегов. Грабежи и кровавые расправы со всяким, кто заговорит о новых порядках, шверонцет на произвол Кутымбая, вкопец заугали народ, подорвали веру в другую, вольную, по правде и совести, бластливую жизнь, о которой, будто дивную сказку, поведают, вернувшись из города, редкий ходок или случайный путник. Шумят тугал, течет и течет широким разливом вода в мутной, илистой Еркин-Дарье, а жизнь на ее берегах, будто в омуте, — не колыхнется, не прорежется живым голосом.

Горько, досадно слушать Джумагуль рассказ Отамбета. Пообещала: поможем. А у самой все внутри бессильно обмякло: такой богатырь и ничего подделать не может, где уж ей, женщине, эту беду одолеть! Подобралась, глянула прямо в глаза Отамбету, усмехнулась задорно:

— Слыхивал про то, как два разбойника целый караван с сорока джигитами разграбили? А вот послушай... Спрашивают люди у одного из джигитов: как так? Их двое, а вас вои сколько! Отвечает: не так — их двое, а я один. Потом на другого караванчика наваклились — опять такое же дело: их двое, а он один. Потом и на третьего... Так и скрутили всех караванчиков. Что тут поделаешь? Один против двух не попрешь!

Отамбет почесал затылок, сказал со вздохом:

— Твоя правда: сорок огней — еще не солнце. А как сгребешь их в одно, когда каждый сам себе и греть и светить хочет! Задумаешься. Да и у аксакала не сорок рук — тут тебе и на учебу поставь сколько положено, и зерно сдай по плану, и ТОЗ собери... Сейчас Баймуратов сказал: готовься, брат, земельно-водную лепорму производить будем. А что она за зверь такой, эта лепорма? С какого боку к ней подходить?

— Не лепорма — реформа, — поправила Джумагуль.

— Ну, спасибо, — помогла: реформа. Теперь все ясно стало.

Два часа растолковывала Джумагуль Отамбету-палвану значение этого непонятного ему слова. Всю землю, всю воду, что течет по земле, отобрать у баев и мулл и, как сказано в советском законе, передать ее тем, кто трудится на этой земле. Единым разом и на вечные времена покончить с эксплуатацией — с тем, что один, как паразит, живет и жиреет за счет другого.

Это палван понял сразу, это он знал и без хитрых слов — «реформа», «эксплуатация»: всей жизнью своей выстрадал. Однако, сколько бы ни было знаний, пужно еще и мочь.

Джумагуль обозлилась: здоровый джигит — быка кулаком свалить может, а немощной телкой мычит. Сказала, чтоб задеть, раззадорить:

— Пугливую львицу и котята сосут.

Отамбет оскорбился:

— Хорошо вам тут сидеть да указывать! А вот поехали бы туда — поглядел бы на вашу отвагу.

— А что, и приеду! — выпалила Джумагуль и сама испугалась, а Отамбет отвернулся обиженный, ступил к двери.

— Надумаешь ехать — предупреди. Встретим. Не то сразу и провожать придется. В последний путь.

Только ушел Отамбет, в кабинете появился новый посетитель — такой суетливый узкоглазый, старик с кустиком редкой рыжеватой бородки.

— Ты тут будешь повелительницей женщин?

— Если вам женотдел, тогда я.

— Ага, значит, ты. Требую справедливости! — патетически воскликнул старик и воинственно вздернул свою тощую бороденку. — Если человек слово дает, должен он сдержать свое слово? Отвечай!

— Должен, конечно, — не очень уверенно ответила Джумагуль, соображая, к чему клонит старик.

— А если еще и задаток за это свое слово получишь, тогда как?

— Тем более.

— Тогда требую вернуть мне дочь! Слово за нее я давал? Давал. Калым от жениха получил? Получил. Все честь по чести. А ее другой человек украл. Как вор, увел ночью. Что же это выходит?! Грабеж! — кричал в гневе старик, и бороденка его смешно тряслась и подпрыгивала.

— С кем убежала дочь?

— С подлецом, который по-новому учится, волосы распустил, как баба. Я б ему эти лохмы вместе с головой состриг!

— Не горячитесь, отец, — попыталась успокоить старика Джумагуль. — Все будет хорошо, по справедливости.

— Значит, вернешь мне эту бесстыдницу?! О, благодарение тебе, повелительница! Я знал, что найду у тебя правду: новая власть — так повсюду толкуют — простой народ защищает. А я кто? Я и есть тот самый народ! — И старик склонился в низком поклоне.

— Что Советская власть простой народ защищает — это, отец, святая правда. Потому и не вернем вам дочь.

— Как так? — опешил старик. — Слово я давал? Давал. Калым получил? Получил. Народ я? Народ. Кто ж еще? Не бай, не ишан. Отдайте мне дочь.

— Не отдадим! Кто вам дал право давать слово за другого? Продавать человека, как скотину какую-нибудь! А вы спросили у дочери, хочет она за этого вашего жениха или, может, кто другой ей в душу занал? Требуете справедливости, а сами как злодей поступаете.

— Это я злодей буду? Я?.. Да ты... Какая же ты заступница простого народа? — совсем разволновался посетитель. — Изверг ты! Клятвопреступница! Ну, ничего, найду я еще и на тебя управу. До самого аллаха дойду, а свою правду вырву!

Он ушел, громко хлопнув дверью, а на пороге уже стоял новый посетитель. Нахмурив брови, заложив руки за спину, скривив в жесткой усмешке рот, на пороге стоял Турумбет. Кем он явился? Мужем? Отцом Тазагуль? Убийцей?..



Когда-то, помнится, учили Туребая: каждый год под своим знаком рождается. Один под знаком змеи, другой — коровы, третий — львиной пастью на людей щерится. Какой знак, такой и год будет — злой или добрый, засушливый или плодами обильный, радостный или печальный. Все дело, какой зверь воцарится.

На этот раз зверь, видно, попался из добрых. Даже зверем назвать как-то пеловко — домашнее животное: корова — не корова, и с овцой не сравнишь. Конь. Тащит на себе такой урожай — снига гнется. И воды вдоволь принес. И радостей много. А главная радость у Туребая — отцом стал: двух дочерей подарила ему Багдадуль. Дом, который с отъездом Санем и Тазагуль примолк, опустел, снова наполнился звонкими детскими голосами, и этот крик, смех, плач лучше всякой музыки для Туребая. Уедет куда — в город ли вызовут, подается ли в соседний аул поглядеть, как там новую власть устанавливают, — а самому не терпится скорее домой возвратиться. Так и сидел бы меж двух колыбелей, носы утирал да сказки рассказывал. И что ему до того, что крохи еще ничего не поймут, — зато самому приятно.

Только не часто доводится Туребаю с дочками своими побыть. Не до сказок. Такая жизнь пошла — никакой сказочник не придумает: и беды в ней горше, и счастье ярче.

Еще в январе, собравшись на сход, односельчане решили: чтоб все теперь по-новому было, надобно и аулу новое имя дать. Думали, спорили, сошлись на одном — Бахытлы, что значит счастливый. В тот же раз, на общем сходе, своего представителя на съезд выбирали. Сперва кто-то Ходжанияза было назвал. Такой шум, крик, свист поднялся — не то что птицы, — куры в воздух взметнулись. Делегатом на съезд стал Туребай.

Надолго, на всю свою жизнь, запомнит он этот день — 16 февраля 1925 года. Переполненный зал. Торжественная тишина. С трибуны, обитой красной материей, звучит мужской голос: «Первый учредительный съезд Советов Каракалпакии считаю открытым...» Так была создана Каракалпакская автономная область, объединившая все земли, на которых испокон веков жили каракалпаки. Учре-

дительный съезд вынес решение просить о включении Каракалпакской автономной области в состав Казахстана.

И снова в пути Туребай. На этот раз делегатом Каракалпакки направляется в Кызыл-Орду, где состоится съезд Советов Казахской республики. Стоя, впервые в жизни аплодируя, участники съезда принимают закон о братском союзе народов. У многих на глазах слезы радости. Объятия. Звуки «Интернационала». И над всем этим, как знамя, как солнце в небе, — имя Ленина.

Какой-то грузный казах, оказавшийся рядом, крепко стиснул в объятиях Туребай:

— Здравствуй, брат!

— Здравствуй!

Но, видно, в говоре Туребая что-то показалось ему подозрительным. Отступил, оглядел недоверчиво.

— Каракалпак?

— Да нет, отроду я казах...

— Эк тебя! — разочарованно и вроде даже раздраженно бросил грузный казах. — Чего тогда обниматься лезешь? По жепе соскучился?

— Отроду-то я казах, а делегатом оттуда, из Каракалпакки, буду, — пытался объяснить Туребай, но сосед уже потерял к нему всякий интерес и, махнув рукой, отвернулся.

Возвратившись домой, Туребай собрал жителей аула и в подробностях рассказал все, что видел и слышал сам. О том, что Каракалпакия теперь своей народной властью управляться будет. Что все другие народы Советской страны — русские и казахи, узбеки и туркмены — все помогут каракалпакам счастливую жизнь на своей земле строить. Но и мы, каракалпаки, тоже должны другим народам помочь. Потому что в Советской стране все народы — братья, одна большая семья.

Слушали внимательно, не перебивая, лишь время от времени требуя от аксакала пояснить непонятное слово, открыть смысл новых понятий — интернационал, коммуна, пролетариат. И Туребай объяснял — не всегда по-научному, но доступно и верно. Как сам понимал слова выступавших на съезде.

Смуту, как обычно, внес Ходжанияз. Прикипнувшему дурачком, спросил улыбаясь:

— А если у каждого народа теперь эта... как, говоришь, ее имя?... — автономия, значит, каждый на своей

земле жить должен? Казах — у себя, русский — у себя, мы — на своей земле? Вот ты, к примеру, казах, снимешься с места и к себе в Казахстан подашься? А как мы без аксакала управляться будем?— И, шутовски протянув к Туребаю руки, чуть не рыдая, запричитал:— Не уходит нас, аксакал, не бросай бедных-несчастных!

Отвечать Туребаю не пришлось. Со всех сторон, злые и раздраженные, набросились на Ходжанияза односельчане:

— За такие шутки язык вырвать!

— А ему не страшно — чужим языком треплется!

— Гнать его, люди, чтоб мозги не туманил!

Пришлось Ходжаниязу просить у схода прощения:

— Да я что — и пошутить не имею права? По мне, хоть казах, хоть каракалпак, хоть кто — был бы человек хороший да в кости умел бы играть!

— Чего возьмешь с этого болтуна?! Дурак, он дураком и останется. Продолжай, Туребай!

А дурак себе на уме: новую юрту поставил, ковер туркменский из Чимбая привез. И откуда только деньги у него берутся? Сироят люди — отшутится: в карты выиграл или еще проще — дуракам счастье. Однажды по выдержал Туребай, ответил:

— Это только в сказках дураки удачливы. В жизни достаток не глупостью наживается.

— Значит, умом?— с готовностью подхватил Ходжанияз.

Туребай глянул с недобрым прищуром:

— Бывает умом, а бывает и хитростью.

— Какая же во мне хитрость, браток? Весь на виду, — простодушно рассмеялся Ходжанияз.

— Не весь — половина. Другую в тени прячешь. Ладно, как-нибудь и другую попробуем разглядеть.

Запомнил Ходжанияз этот разговор, и с той поры, где шуткой, а где и тайным наветом, старался побольшей уязвить аксакала. Вот и теперь ужалить решил, да не вышло — сход застушился, не дал Туребая в обиду.

Так уж оно получилось, что за два года своего верховодства в ауле бывший батрак, голодный и нищий, стал самым уважаемым здесь человеком. В чем тут причина, каждый, наверно, растолковал бы по-своему. Оди — что почитает Туребая за скромность: каким был, таким и остался у власти. Другой — за то, что не для себя — для

людей аксакал старается: ни юртой новой, ни коврами не разжился, а когда, выстроив дом, тозовцы предложили аксакалу занять одну комнату, отказался, сказал:

— Я потом. Пусть самые бедные туда переедут. Я подожду.

Называли люди и другие причины, почему полюбился им Туребай, но, видно, главную все же открыл Нурутдин, когда вместе с Туребаем возвращался с кзылординского съезда.

— Ты не думай, что люди к тебе льнут за то, что такой ты хороший да мудрый. Тут дело другое: через тебя, аксакала, проводит свою линию в ауле Советская власть. Уважение к ней на тебя изливается. Вот в чем секрет.

Туребай призадумался, попробовал возразить:

— Если так, отчего одних аксакалов почитают больше, других меньше, а третьих и вовсе клянут?

— Оттого, что одни разумней и глубже ведут эту линию, другие — похуже, а третьи, знаменем революции прикрываясь, свою подлую линию гнут. Такой — самый опасный наш враг. Понял?

Да, понял Туребай, всем сердцем постиг и теперь, когда с веселой ухмылочкой на лице Ходжанияз запустил в него камень, твердо решил: не в него, аксакала, целился батрачком — в Советскую власть, в те слова про дружбу и братство народов, что привез Туребай со съезда. И не себя, не свой авторитет аксакала должен он сейчас защитить — великую большевистскую истину, ленинский завет.

Такого красноречия не предполагали в Туребае даже самые близкие его друзья. Он говорил о междоусобицах, уносивших сотни человеческих жизней, о кровопролитных войнах, которые разжигались богатеями, о буржуазных националистах, желающих рассорить и разделить народы. Плакали женщины, вспоминая отцов и братьев, погибших во время жестоких набегов соседних племен. Вздыхали и отводили глаза в сторону пожилые мужчины, те, чья память неслла еще на себе ржавые пятна, вытравленные местью и злобой.

А Туребай говорил все свободней, жарче, запальчивей:

— Бедняк на бедняка кидаться не станет. Что им делить? Пот, которым поля орошает? Слезы, что льет в голодную стужу? Или долги, которыми, как паутиной,

опутан?.. Баи, ишаны, царские слуги — вот кто наши враги — скотовода казаха, и земляшца каракалпака, и русского рабочего человека! Только объединившись, став в один ряд, мы общего врага одолеем. Потому и учит нас большевистская партия: пролетарии всех стран — это значит мы, батраки, рабочие, беднота, — пролетарии, соединяйтесь!

После схода, не сговариваясь, всем скопом пошли через аул. Мимо замкнутых ворот Дуйсенбая, через площадь, к новому, только в этот год вырытому каналу. Остановились у двух чигирей — примитивных водоподъемных колес, купленных весной на общие средства членов ТОЗа. По обе стороны канала, вытянувшись в два человеческих роста, нугливо шуршала своими саблями-листьями джугара. Снежной белизной сияли на солнце первые раскрывшиеся коробочки хлопка. А дальше тяжелой золотистой волной колыхалась пшеница.

Разве устоит, не залется искристой радостью сердце крестьянина перед этой благодатной картиной! Кажется, не только глазами, обонянием, слухом — всем нутром, каждой порой своей чувствует он, как дышит плодоносящая земля-кормилица, как глухо ворочается в ее утробе вызревший плод. И нет для него большего счастья, чем натруженной, загорелой рукой нежно коснуться тяжелой, медовым соком палитой грозди, или, как закадычного друга, похлопать рябой бок арбуза, или любовно, будто пушинку, положить на ладонь невесомое облачко хлопка. Кому еще, кроме крестьянина, дано испытать это светлое, возвышающее чувство? Женщине, давней миру нового человека? Поэту, сложившему прекрасней дастан? Мирабу, проложившему для воды новый путь?

Когда возвращались, рядом с Туребаем оказалась Бибнайым, вдова портного, как ее теперь называли, хотя каждому в ауле известно, что портной жив и по приговору суда отбывает где-то свой срок. Сильно переменилась старуха с той памятной трагической ночи. Забросив домашний очаг, целыми днями при тозовцах ходит — то чай вскипятит, то с тяпкой на окучку хлопчатника выйдет, то на стройку большого дома подается. Привыкли к ней тозовцы, считают своей. А она приبلудная вроде.

— Послушай, сынок, — замедлив шаг, говорит вдруг Туребаю вдова. — Слово свое, что тогда на собрании молвила, все как есть выполнила: племянника своего Абдул-



ду на учебу отравила, денег столько дала — все науки постичь хватит. Теперь думаю, как мне жить дальше?

— Так и живите — при людях, и люди ведь к вам по доброму, — не разобравшись в настроении старухи, ответил Туребай.

— Не то, не то, сынок. Не могу с богатством своим порешить. Юрта, машина «Зингер», материя разная от того убийцы осталась. Куда это все?

Туребай растерялся: со всякими вопросами приходили к нему люди — с такими не случалось. Задумался, не зная, какой дать совет. Бибиайым подсказала сама:

— А что, аксакал, если продам я все это хозяйство свое, деньги в ТОЗ — значит, в общий котел, а сама попрошусь: примите, мол, люди! Как думаешь, примут?

— Думаю, и без денег примут тебя.

— С деньгами вернее, сынок... Только б приняли. Мне теперь без людей, в одиночку, что живой в могиле с открытыми глазами лежать. Не примете — умом тронусь. — И, прикрыв углом платка рот, Бибиайым разрыдалась.

Так, прямо с канала и пришли они в большой дом. Уговаривать тозовцев не пришлось: много лет знали они Бибиайым, каждый день ее жизни, каждое сказанное ею слово. Только Калий, когда речь зашла об имуществе, оставшемся от портного, несмело спросил из-за спины Орылбай:

— А зачем продавать? Лучше раздать, каждому понемногу: тому юрту, этому ковер, Сеитджану, к примеру, иголку, а то вон сквозь штаны всю душу видать.

— Мне иголку, а тебе, значит, машину?! Так, что ли? — обиженно отозвался Сеитджан.

— Можно и так. Общее хозяйство. Ты без меня ничего не можешь сделать, я — без тебя. Так и будем парой ходить.

Орылбай рассудил иначе:

— Верно говорит вдова — все продать! А за вырученные деньги пару быков да железный плуг, да, может, еще и коня для общего хозяйства купить. Всем польза.

Его поддержали все жильцы большого четырнадцатикомнатного дома. Кроме Калия, которого мысль о швейной машине колола, как та стальная игла.

В первый же базарный день весь скарб Танирбергена был уложен на высокую двухколесную арбу и в сопровождении Орынбая отправлен в Чимбай.

В тот же день Бибиайым переселилась в большой тозовский дом.

## 12

Прошлое возвращалось снова. Бесплотные тени былого поднимались из глубоких могильников памяти и шевелили обескровленными губами, чего-то требовали, и грозили, и звали. С чего это началось?..

Он стоял на пороге, суровый, как судья, жестокий, как палач. Джумагуль почувствовала, как цепенеет под этим тяжелым взглядом, как стынет и замирает сердце. Страх? Нет, это был не страх. Сколько раз уже приходилось ей лицом к лицу встречаться со смертью—стреляли из близких засад, неслись с оголенными саблями, забрасывали камнями. Тогда — помнит она совершенно отчетливо, — тогда не было этого чувства бессилия и покорности. Была злость, была отчаянная решимость, была пружинистая сила в руках. Отчего же сейчас?.. Муж, господин, властитель ее судьбы. Значит, не вырваться, не уйти ей от этого рабского сознания? Это в крови, это сильнее ее. Зачем тогда было учить, записывать, отвечать на экзаменах: революция освобождает человеческую личность... патриархат—явление историческое, он рухнет вместе с породившим его эксплуататорским обществом... угол падения... Чему равен угол падения?.. Ах, зачем ей все это знать? Раба!..

Он стоял, заслонив спиной дверь, стоял молча, в упор разглядывая Джумагуль. Городского покроя костюм. Короткая стрижка. Шрам на носу. Это он, Турумбет, тогда вторячах ее поуродовал. Мог и вовсе прибить. А что? Муж!.. Прикончил бы ее тогда, меньше хлопот было. И сейчас не пришлось бы, как велел Дуйсенбай...

Сколько продолжалась эта немая, тяжелая сцена, Джумагуль не могла бы сказать. Она помнит только, как скрикнула дверь и из-за плеча Турумбета выглянула стриженная голова одного из работников окружка:

— Баймуратов вас просит. Срочное дело.

Не подымая на Турумбета глаз, Джумагуль двинулась к двери. Турумбет отступил. В последний момент, когда

Джумагуль была уже на пороге, ухватил ее за рукав, спросил хрипло, отрывисто:

— Дочка где?.. Хочу видеть...

— Нет ее здесь. В Турткуле... В Турткуле оставила.

— У кого?.. Я туда как раз, в Турткуль... — и, помедлив, будто устыдившись, добавил: — На учебу послали...

— Ты? — удивилась, в первый раз посмотрела Джумагуль прямо в глаза Турумбету. — Будешь учиться?

— Самому кой-кого проучить пужно...

Снова насторожилась, вся напряглась Джумагуль:

— Кого же?

— Где дочка?

— Этого я не скажу! Нет у тебя дочери! Не было!

В лицо Турумбета ударила краска. Произнес раздраженно:

— Лучше скажи, не то совсем сиротой дитя останется.

— Пугаешь?

— Предупреждаю.

— Нет! — твердо повторила Джумагуль и с силой толкнула дверь. Уже в коридоре она расслышала последние слова Турумбета:

— Пока не узнаю, не уеду отсюда. Так и знай...

Больше Джумагуль его не видала. Кто-то рассказывал ей, будто видел Турумбета в окрисполкоме — ходил, добивался, чтоб оставили учиться в Чимбае. Затем будто уехал в Турткуль на годичные курсы учителей начальной школы. Так или не так говорили ей люди, во всяком случае, в Чимбае его не было, в Мангит не вернулся.

Гнетущие воспоминания, тяжелые мысли всколыхнула в Джумагуль встреча с бывшим сунругом. И главное в них было — это сознание своей беспомощности, чувство немой, униженной покорности, хорошо знакомое чувство, которое она гнала из себя столько лет и которое вновь ощутила в те короткие, черные, как пропасть, минуты. Неужели не вытравить, никогда не переступить ей эту черту? Внутренний голос подсказывал: женщина, не противься — это в природе твоей, твое естество, твоя суть. Но вопреки этому голосу в душе Джумагуль зрел протест. Все громче, сильнее, властней. Он требовал от нее каких-то решительных действий, дерзких поступков, способных доказать ей самой, что она человек и сама — не бог и не муж, нет! — сама будет вершить свою жизнь, выбирать, как захочет, судьбу.

Она должна была пройти через это. Через это должен пройти, наверно, каждый, кто жаждет вырваться, возмужав, из-под сладкой опеки родителей, из-под дарующей или карающей по своему усмотрению всемогущей десницы супруга, из-под власти обычаев и традиционных условностей. Вызов, дерзко брошенный тем, от кого постоянно зависел, кто считал себя вправе диктовать и навязывать тебе свою волю, — разве есть иной, лучший способ утвердить свою самостоятельность и свободу?

Случай шел Джумагуль навстречу, подсказывал способ осуществить свое намерение.

Через несколько дней после встречи с Турумбетом Джумагуль вызвала к себе Муканова — директора недавно организованного в Чимбае детского интерната. Смуглый худой парень с курчавыми волосами оказался на редкость застенчивым. Потупив глаза, он тихо, односложно отвечал на все вопросы заведующей женотделом, и единственным желанием его, как показалось Джумагуль, было поскорее выбраться из этого кабинета.

Дела в интернате шли неважно: детей мало — беспризорные сироты, которые, вероятно, только потому и оказались в интернате, что некому было за них заступиться; оборудования почти никакого — несколько пустых комнат, прежде принадлежавших какому-то бакалейщику; обучение велось каждым воспитателем на свой манер — без программы, без учебников. Впрочем, тут вины Муканова не было: Джумагуль не хуже Муканова знала, что учебников на каракалпакском языке не существует, что их еще предстоит создавать.

Из всего рассказа директора интерната порадовало лишь то, что среди преподавателей оказалась знакомая — жена Нурутдина Маджитова Фатима.

Джумагуль распрощалась с Мукановым, решив про себя, что человек он вялый и беспомощный, которому волов погонять, а не ребят воспитывать.

Первое впечатление оказалось обманчивым. Джумагуль убедилась в этом тотчас, как переступила порог интерната. Да, оборудования почти никакого — голые стены, и одежда на детях латаная-перелатанная, обед на столе — бурда постная. Но зато сколько задорного огня, увлеченности, света пытливого мысли в лицах ребят! У забитых, изнывающих от безделья и скуки таких лиц не бывает. С нескрываемой гордостью воспитанники де-

монстрировали Джумагуль свои рисунки и папные фигурки зверей, вылепленные из глины, читали стихи, звавшие в последний и решительный бой, показывали акробатические номера. Какой-то малыш, уязвленный тем, что про него забыли, не обращают внимания, взобрался на скамейку и во весь свой исклявый голос, буд-то стихи, стал декламировать таблицу умножения. Он тоже кое-что может, он не меньше других достоин внимания!

Разных возрастов — от пяти до пятнадцати, — разных национальностей, разными путями попавшие в интернат, дети жили здесь единой, дружной семьей, и в этом, конечно, была заслуга Муканова.

Как-то по-новому, с вниманием и интересом, присматривалась теперь Джумагуль к этому вихрастому парню. Здесь, среди ребят, в стенах своего интерната, он не выглядел таким застенчивым, вялым. Наоборот, именно он, чувствовалось по всему, душа и главный зачинщик всех ребяческих игр, затей, состязаний. К Муканову, как к высшему авторитету, обращались воспитанники, когда сами не могли разрешить какого-то принципиального спора. К нему шли за советом и с жалобами. Словом, он был для детей и наставником, и судьей, и другом.

К концу дня, когда Джумагуль собиралась уходить, Муканов сказал:

— Жаль, ребят у нас мало — одни сироты. У кого отец или мать, даже сестра постарше, тех не пускают, близко подойти не дают.

— Нужно привлекать, агитировать! — ответила Джумагуль и смутилась: начальственная демагогия — нужно, действуйте, давай-давай! А как это нужно сделать, каким путем тут действовать, чего давать? Это то же, примерно, что посоветовать голодающему: а ты бы поел, браток, поешь — сытым будешь. А что ему есть, если нечего?.. Стыдно.

Джумагуль поспешила исправить оплошность:

— Мы подумаем, поможем вам как-нибудь...

И опять получилось неловко: человек с делом к тебе, а ты ему в зубы пустышку — подумаем, разберемся... Слова! Слова, которые говоришь, когда путного ничего предложить не можешь. Да и откуда ж мочь Джумагуль: все ее знания — школа... Значит, что же, признаться Муканову: неопытная, мол, ничего я еще в этом не смыс-



лю? Так честней... Но как тогда твой авторитет руководителя, заведующего отделом окружкама партии? Выходит, чтоб окружающие тебя уважали, пужно лгать, хитрить, представляться? Неправда: на лжи построенный авторитет и сам ложен. Нужно честно, как есть, но-просто.

— Я еще мало смыслю в этих делах,— призналась Джумагуль чистосердечно.— Первые дни работаю.

— Да и я здесь недавно. Из Казахстана прислап.

— Из Казахстана?— переспросила Джумагуль, в задумчивости стоявшая у окна. Повернулась:— Это хорошо, что ребятам в интернате весело, интересно. Может, тем и завлечете других.

Конечно, Муканов сам понимает: создать в интернате такие условия, чтоб жизнь ключом,— это первое дело. Это пужно и для тех, кто живет в интернате, и для тех, кто за всем, что здесь происходит, в щели подглядывает. Много таких — десятка три, а то и четыре. Мальчишки, девочки.

— Вот и тяните их в запятня, в игры свои — лучший способ!— обрадовалась Джумагуль, будто нашла решение проблемы.

Муканов усмехнулся скептически:

— Чего их тянуть—сами б прибежали, да вот родители... Не пускают, и все тут...

— А вы не пробовали разъяснить им, растолковать?

— Как же... И сам разговаривал, и Фатима-ханум... Слушают, улыбаются, руки к сердцу прижимают, а с места не сдвинешь...—и вдруг, приблизившись к Джумагуль, перешел на шепот:— Есть у нас один замысел — спектакль хотим показать. «Продали дочь за калым». Может, подействует?— и увлекаясь все больше, жестикулируя, стал рассказывать содержание пьесы, написанной воспитанниками интерната под его, Муканова, руководством.

Получилось занятно. Все как в жизни. Разыгранная в лицах, такая пьеса должна была подействовать на зрителей. Помнит Джумагуль, когда занималась в Турткуле, их однажды повели на спектакль. Пьесу Хамзы показывали. Что там тогда в зале творилось! Кто-то плакал, кто-то страшной карой грозился. Даже стреляли. А когда спектакль окончился, цели революционные песни, клялись жить по-новому, по законам Советов!

План Муканова захватил Джумагуль. Невольно поддавшись его интонации, она спросила тем же горячим заговорническим шепотом:

— А играть кто будет? Артисты кто?

— Я, ребята, которые постарше.

— А девушку? Ну, ту, что продают?

— Не знаю... Кого-нибудь из мальчиков переоденем.

И тут отчаянная, шальная мысль ударила Джумагуль в голову: а что если мне, если я выйду на сцену? Она знала, какую бурю негодования вызовет это у всякого правоверного мусульманина. Она могла ясно представить, какому страшному риску себя подвергает: всякое лицедейство — грех перед богом, но женщина на сцене — это откровенное кощунство, это надругательство над всем свитым. Такую женщину земля посить не может. Она должна погибнуть. Она погибнет, потому что только позорная смерть лицедейки способна спасти хоть раз взглянувшего на нее мусульманина от слепоты и вечных адских мучений. Были случаи... Да, Джумагуль хорошо помнит рассказы подруг о том, как забросали камнями девушку, осмелившуюся выйти на сцену, как исполосовали кинжалом другую, сожгли третью. Но чем кошмарней картины рисовало воображение, тем более настойчивый и требовательный протест нарастал в Джумагуль. Она докажет всем, она докажет самой себе, что с прошлым покончено, — она свободна и будет жить так, как захочет сама. Она вырвет и растопчет то рабское чувство покорности, которое гнуло ее перед мужем, перед богом, перед жестокими подлыми обычаями!

— Девушку сыграю я!

— Вы?! — удивился, похоже испугался даже Муканов. — Вы представляете...

— Я все представляю, — резко отмахнулась Джумагуль, давая понять собеседнику, что отговаривать ее, предостерегать — дело зряшное.

Две недели изо дня в день приходила Джумагуль в интернат и вместе с Мукановым и его воспитанниками репетировала спектакль. Поначалу руки, ноги, голос, глаза не повиновались ей, деревенели, требовали каких-то особых усилий для того, чтобы выполнять свои обычные функции. Муканов настойчиво и терпеливо ее направлял:

— Проще. Свободнее. Не думайте над тем, как поднять руку — это придет само, когда вы будете чувствовать то, что переживает ваша героиня.

И вдруг, на восьмой или на десятый день, во время очередной ренетиции, Джумагуль неожиданно ощутила, как припила к ней какая-то удивительная, прежде никогда не испытанная легкость — словно выросли крылья. Она двигалась по комнате свободно, непринужденно, голос ее звучал естественно, и пальцы ног не сводила больше зябкая судорога. Но самое удивительное — в какой-то момент душой Джумагуль завладела боль и тоска той незнакомой, чужой девушки, которой не существовало, которую выдумал Мукапов. Вместе с ней Джумагуль металась в поисках выхода, отчаивалась и обретала надежду, смирялась со своей судьбой и шла добровольно на смерть. Это было непонятно, необъяснимо, и все же это было так.

Представление было назначено на пятницу. Но уже в понедельник на дувалах, фонарных столбах, на стенах домов были развешаны объявления, старательно разрисованные воспитанниками интерната. Как заправские глашатаи, ребята оновещали о предстоящем событии на базарной площади, в караван-сараяе, у городских ворот.

Против всех ожиданий, народу в дом бакалейщика набилось много — молодые пары и пожилые мужчины, местные и приезжие, те, кому негде было скоротать пустой вечер. Явилось и окружное начальство — Баймуратов, Нурсентов, Курбанниязов, Маджитов, Ембергенов. Не было только тех, кому прямо адресовался спектакль, — женщины, девушек, жен и невест. Правда, проходя через дворик, Джумагуль краем глаза заметила несколько жепских фигур, притаившихся в темном углу. Но дождутся ли они представления или, исхлестанные презрительными, гневными, насмешливыми взглядами мужчин, не выдержат, сбегут еще до начала?

Сшитый из мешковины на скорую руку, местами залатанный занавес разгораживал просторную гостиную бакалейщика на две половины — сцену и зрительный зал. Собравшиеся в зале перебрасывались короткими репликами, посмеивались, курили. На сцене в нервном ознобе металась бледные воспитанники, придавленным голосом отдавал какие-то распоряжения Мукапов. Джумагуль стояла у стенки, шевелила пересохшими губами, зябко

встала в платок, Она слышала, как Мукапов сказал хриплым шепотом: «Начинайте! Начинайте!» но с места не сдвинулась, не изменила позы. Испуганными, бессмысленными глазами она уставилась в занавес и, когда он раздвинулся, когда в дымчатой мгле колыхнулись перед ней человеческие лица — десятки, сотни, как ей померещилось, сплошное море лиц, — она вскрикнула и руками закрыла лицо.

— Ну! Ну, давайте! — требовал, приказывал голос Мукапова.

— Иди же, иди, родная, — ласково уговаривала ее Фатима, но Джумагуль не могла сдвинуться с места — руки и ноги не повиновались ей больше, в горле застрял какой-то комок, в ушах стоял сплошной беспрестанный звон.

Чья-то рука мягко вытолкнула Джумагуль на середину сцены. От неожиданности она упала на колени и, словно утоняющая, обеими руками уцепилась за низкий столик. Как сквозь вату, до нее дошел ломкий голос мальчишки, исполнявшего роль матери:

— Послушай, дочь, в четырнадцать лет, в твоём возрасте, я уже дитя няпчила. Пора и тебе жизнь устраивать.

Джумагуль должна была отвечать. Ещё час назад она повторяла роль и точно помнила свою реплику. Сейчас ни единого слова не было в её памяти, ни единого.

— Что ж ты молчишь? Отвечай! — не дождавшись положенного ответа, растерялся её партнер.

Ага, она, кажется, должна ответить: «Мама, я не хочу, я боюсь выходить замуж! Пожалейте свою бедную дочь, мама!..»

Собрав все силы, прижав к груди дрожащий подбородок, она как будто выдохнула, выплеснула из себя:

— Я не хочу, не нужно, мама! Зачем тебе убивать свою дочь!

И зал затих. Волнение и страх, прорвавшиеся в этом вопле, проникли даже в самые черствые, загрубевшие сердца. И что-то дрогнуло, отозвалось в них человеческим состраданием. Была ли здесь причиной тревога, которая в тот миг владела Джумагуль? Или, быть может, раскрывшаяся вдруг живая память о собственной боли, о горе многих своих подруг? Кто знает...

Но это продолжалось недолго. Словно очнувшись от шока, зрители подались вперед, разглядывая странную,

съжившуюся на полу фигуру. И вдруг кто-то удивленно воскликнул: «Женщина! Это ведь настоящая женщина!..» Ропот становился все громче, настойчивей. Поднялись со своих мест зрители задних рядов. Какой-то твердый предмет ударился в стенку над головой Джумагуль. И будто раскат небесного грома потряс дом бакалейщика: «Женщина!»

А женщина, только что жалкая и беспомощная, поднялась, вышла вперед и, став перед зрителями, глядела прямо в зал, в горящие ненавистью глаза, в искаженные криком лица. Это был вызов.

Протиснувшись сквозь ряды, к Джумагуль кинулся какой-то вислоусый мужчина. На минуту ей показалось, будто видела она когда-то это скуластое, со сросшимися на переносице бровями, болезненно бледное лицо... Выскокивший на сцену Маджитов успел оттолкнуть вислоусого. В следующее мгновение Джумагуль оказалась за широкой спиной Ембергенова. Неторопливо, с нарочитой ленцой он расстегнул кобуру, вытащил револьвер и, поигрывая им, стал с лучезарной улыбкой разглядывать зал.

— Пошумели и хватит, — произнес он отечь миролюбиво, когда гвалт поунялся. — Будем считать, инцидент исчерпан. Представление продолжается.

— Женщина... Она женщина! — крикнул кто-то из задних рядов.

— Ну и что? Впервые живую женщину видишь? А если такой уж стыдливый — вон дверь, никто не держит. Несколько человек, не оглядываясь, пошли к двери.

— Эй, ты, мужчина! — окликнул Ембергенов одного из них и, когда тот остановился, коротким, быстрым движением подобрал валяющуюся у ног рыжую бороду — видно, кто-то из участников представления потерял в суматохе, — размахнулся, что есть силы швырнул в зал. — Возьми, пригодится!

Зал ответил веселым хохотом.

Спектакль пришлось начинать сначала.

Что было потом, Джумагуль помнит смутно. Откуда-то со стороны доносились возмущенные и сочувственные возгласы, кто-то хлопал в ладоши, несколько раз в унисон вопзался пронзительный свист. Джумагуль жила в другом мире. Ее хотели насильно, против воли отдать за калым щербатому, рыжебородому старику. Она изнывала от горя, плакала, и сквозь слезы ей виделась полузабытая



физиономия Айтеи-муллы. Потом появился джигит, который, смущаясь, говорил ей ласковые, добрые слова, и этот джигит почему-то напомнил ей Турумбета, другого, давнего Турумбета, того, который приезжал ее сватать в далекий аул над Еркин-Дарьей. Дальше, однако, все поворачивалось не так, как было у Джумагуль: покорная воле родителей, девушка уезжала к режебородому старику и, не в силах превозмочь к нему отвращения, не в силах забыть свою загубленную любовь, кончала жизнь самоубийством.

Странное чувство испытывала Джумагуль после спектакля. Будто снова, второй раз прошла она кругом своей жизни, заново пережила надежды и разочарования.

Сбросив театральный костюм, надев свое собственное платье, она почувствовала облегчение и еще какую-то неясную, волнующую радость. Так, должно быть, чувствует себя человек, сумевший доказать себе и всем окружающим, что он отныне свободен и неподвластен ничьей насильственной воле. От этого ощущения хотелось плакать, смеяться, крепко стиснуть кого-то в объятиях.

У ворот интерната ее ждал Ембергенов.

— Вы?— удивилась Джумагуль.

— После такого представления нельзя вам одной — опасно.

— Значит, теперь буду ходить под конвоем?

— Я не конвоировать, а патрулировать вас собираюсь.

— А это разве не одно и то же?— рассмеялась Джумагуль.

Поначалу беседа не клеилась. Ембергенов расспрашивал Джумагуль о школе, где она занималась, о жизни в Турткуле. Затем стал рассказывать сам.

Нелегкая, да в общем и не очень благодарная у него работа — все с преступниками и с преступниками. Конечно, преступник преступнику рознь. Один по неведению, по глупости своей с врагами связался. Ему растолкуй, что к чему, глаза на правду открой, он и сам за эту правду драться пойдет. Другой — враг убежденный, до самого корня. Такому толкуй не толкуй — врагом был, врагом и останется.

— Да, трудная у вас, опасная жизнь, — искренне посочувствовала Ембергенову Джумагуль, и в груди ее шевельнулось что-то теплое, жалостное. — Каждый день лицом к лицу с врагами. Подумать страшно!

Ембергенов улыбнулся задумчиво:

— Лицом к лицу не так страшно. Помню, когда по пескам гонялись за бандитами, легче было. Теперь—уже года полтора, пожалуй,— тихо стало, попрятались. Лица не кажут. Все в спину, исподтишка норовят ударить. Вот есть тут один — имени пока не скажу — уж таким революционером прикидывается — куда там! Герой! Неподкупная личность! А приглядишься поближе — последняя контра. Ведь что придумал, подлец: именем революции революцию и долбаёт!

— Это как же? — спросила Джумагуль, разглядывая моложавое, с девичьими длинными ресницами и припухлыми губами лицо Ембергенова.

— А так: человек на конейку провинился или просто ошибся — бывает ведь, да? — а он за горло его: расстрелять! План по заготовкам не выполнил — стрелять! С женой по домашним делам поругался — феодал, контра, к стенке его, гада!.. Вот, думают люди, борец за правду, никому спуска не даст. Он и сам ни одного собрания-совещания не пропустит, чтоб не сказать: «Революция — это, товарищи, никакой пощады классовой гидре! Железная дисциплина и — точка! Ясно?»

— Слышала я уже где-то эти слова. От кого — не припомню.

— Придет время — скажу... А для чего он эту политику гнет? Не догадались? А чтоб, значит, с одной стороны, свою преданность революции показать, — какой, мол, я принципиальный да беспощадный. С другой, чтоб этой самой беспощадностью, жестокостью зверской людей озлобить, на революцию натравить. Хитрая гадина!

В темноте узкой, кривой улочки Джумагуль не заметила корневища, споткнулась, едва не упала. Ембергенов успел подхватить ее под руку.

— Под ноги нужно смотреть, а то все в небесах. Наш командир говорил: если увидишь, что человек всеми помыслами устремлен в небо, хватай его за ноги и тащи.

Джумагуль рассмеялась, осторожно высвободила руку, которую Ембергенов, очевидно, забыл отпустить, подумала: хороший он, интересный человек, и поговорить с ним приятно.

— А вы настоящая артистка! Здорово это у вас по-

лучается,— продолжал Ембергенов, идя рядом.— Когда задумали жизнь кончать, так я там чуть слезу не пустил.

— ОГПУ — и плакать? Такого не может быть! — приторно удивилась Джумагуль и снова рассыпалась легким веселым смехом.

Ембергенов замедлил шаг.

— Думаете, если начальник ОГПУ — из железа? А я вот бегаю, езжу, стреляю, самому мишенью случается быть, приду домой — пусто. И такая тоска за сердце возьмет...

— Отчего так пусто? — спросила Джумагуль и испугалась: как бы Ембергенов по-своему не истолковал этот вопрос — ведь педозволено женщине такие слова говорить! Опять эти запреты, опять «не дозволено!» И главное, не кто-то другой, со стороны — сама себя за руку хватает. Свободная личность! И обозлившись на себя, переступив какую-то незримую препопу, спросила преднамеренно прямо: — Или не присмотрели еще?

— Присмотрел... Да не знаю, пойдет ли... — И глядя прямо в глаза Джумагуль, объяснил: — Нравится она мне сильно...

На углу переулка, где жила Джумагуль, остановились.

— Дальше пойду сама.

Ембергенов не ответил. Молча глядел на женщину, думал. Наконец, произнес:

— А может?.. Она ведь одинокая тоже. А? Как считаете? Верно ж сказано: одиночество подобает только аллаху.— И он снова, почти незаметно, коснулся руки Джумагуль.

...Багровая, будто раскаленная, луна светила прямо в окно. По стене, то на мгновенье замирая, то оживая снова, прыгали, вздрагивали, трепетали кружевные отпечатки бившихся на ветру дубовых ветвей.

Джумагуль не спала. Разметавшись в жаркой постели, облизывая языком ссохшиеся губы, припоминала все подробности разговора. Ведь это он о ней, о Джумагуль, говорил: одинокая... нравится... Одинокая! Ох, сколько лет она уже так, без мужа, без ласки!.. У него красивые губы, и руки теплые, добрые. А когда поглядит, отчего-то неловко становится, хоть платком закрывайся... Турумбет — тот был хмурым, угрюмым...

Джумагуль подымается, пьет из ведра холодную воду,

стягивает в узел рассыпавшиеся волосы. Поправив на Тазагуль одеяло, возвращается к постели и снова ложится.

А почему, собственно, нельзя ей об этом думать, если правится она ему... и он, он тоже?.. Верность изгнанному ее мужу? Страх перед тем, что кто-то узнает, кто-то осудит и бросит ей вслед презрительный взгляд? Или таков ее долг, женский долг? Перед кем? Перед богом? Нет его, бога! Перед людьми? Но если даже это случится, разве какое-то зло причинит она людям?.. Перед собой?..

...У него красивые губы, и руки теплые, добрые... Его зовут Оракбай... Оракбай Ембергенов...

## 13

Даже самое лучшее имя не спасет человека от злой судьбы. Даже самое прекрасное название, данное аулу, не оградит его от бед и напастей.

В первый момент, когда, выбежав на рассвете из дома, Калий увидел землю, опущенную искристым инеем, он онемел. Затем, потрясая кулаками в воздухе над головой, разразился бранью:

— Какой ты, Бахытлы, провалиться бы тебе сквозь землю, сгореть в геенне огненной, сгнить в пасти дохлого шакала! Какой же ты Бахытлы, спрашиваю я тебя? Мангит! Мангит ты и есть!

Но криком Калия соседей не удивишь — привыкли: каждое утро, точно петух, горланит на всю улицу. Сегодня, однако, что-то уж очень он разошелся. В дверях, протирая глаза, появляется Орынбай, за ним Сеитджан, Салий, все жильцы большого тозовского дома.

Вопросов Калию задавать не нужно — все ясно. Слишком ясно. Натягивая на ходу чапан, Орынбай устремляется в сторону нового канала, к полям, обещавшим такой богатый, сытый год. За ним молча ступают другие. Ни громких разговоров, ни шепота.

Съежились, поникли, будто крылья подбитого голубя, острые листья джугары. Побелели недозревшие колосья пшеницы. Даже тыква, и та не выдержала встречи с неожиданным губительным заморозком. Только хлопок да рис уцелели.

Дехкане стояли с поникшими головами, молчали. Там стоят над свежей могилой кормильца. Сколько трудов, сколько надежд здесь похоронено!..

Нарушил молчание неизвестно откуда появившийся Мамбет-мулла.

— За грехи наши, за грехи наши тяжкие,— произнес он тихо, невнятно, будто с самим собой разговаривал.

Но его расслышали.

— Ты еще будешь голову морочить!—грубо оборвал его Сеитджан и, обернувшись к дехканам, сказал:—Ждать печего. Что можно собрать — собирайте.

— Чего соберешь здесь? Верблюды, и тот есть не станет,— откликнулся кто-то из стоявших рядом.

— Ох, не выжить нам этой зимой! Все с голоду по-рем, все, как мухи!—всплакнула старуха с изможденным лицом.

— Ну, заукокойную завела!—папустился на нее Салий.— Рис будет? Будет. Хлопок вон в сохранности соберем.

— Хлопком, душа моя, не прокормишься.

— А мы его на хлеб и выменяем,— подсказал Орынбай.

— Как же, выменяешь! А по поставкам что сдавать будешь? Блох?

— Жаль, Туребая нет. Объяснил бы он тебе, дураку: у нас теперь государство какое? Народное. Это как, потвоему, понимать нужно? А так, что, ежели недород или заморозки, или какая другая беда в одном ауле случится, все другие аулы придут к нам на помощь: пате вам, братья, хлеба, и соли, и всего, чего вам еще не хватает, а случится у нас беда, вы нам поможете. Вот она как свою линию строит, Советская власть!

По вызову из окрисполкома Туребай выехал в город. На душе у него было невесело. Он представлял себе, что скажет Курбаншиязов, услышав о гибели урожая, как громыхнет кулаками по столу, и его заранее бросало в жар. Конечно, хвалить аксакала не за что. Но если подумать, поносить его вроде тоже нет причин: ну разве повинен он в том, что заморозок все побил?

Так и ехал Туребай по знакомой дороге, размышляя над тем, как бы помягче поднести Курбаншиязову скверную новость, подбирая слова покруглее, прикидывал цифры поменьше. И вдруг—будто кто его в сердце ужалил. Не



о том страдаснь, аксакал! Тут парод без хлеба на зиму остается, плап по поставкам выполнить печем, а ты о себе — как тебя встретят, что на прощание скажут? Да пропади он пропадом, этот Курбанниязов! До чего человека довел! Вместо дела о собственной шкуре нечется. И ты, аксакал, тоже хорош — чего не придумал только, чтобы себя уберечь! А тебе что? Выговор — так выговор, а снимут совсем — тоже беда не большая. Аул бы от голодухи снасти — вот о чем забота твоя!

Занятый своими мыслями, Туребай не обратил внимания на всадника, который с ним поравнялся. А когда поглядел, повернуть в сторону — поздно. Да и всаднику, видно, встреча с Туребаем как гвоздь в сапоге. Но теперь делать нечего...

— Э-хе, аксакал, рад на добром пути тебя встретить! — широко улыбаясь, приветствует его Дуйсенбай. — В город?

— Куда же еще по этой дороге! Ясно, не в рай! — огрызается аксакал и резко дергает узду, отчего его кляча переходит на мелкую рысь.

— И я вот на базар собрался — хром на ичиги пу-жеп, — будто и не приметив грубости Туребая, улыбается Дуйсенбай.

Он делает еще несколько натужных попыток завязать разговор, но аксакал не откликается, не смотрит даже в его сторону, и Дуйсенбай умолкает.

За мостом, у въезда в Чимбай, их дороги расходятся. Туребаева кляча ковыляет напрямик, Дуйсенбай сворачивает налево.

В отделе заготовок все происходит именно так, как представлял себе Туребай. Курбанниязов кричит, бьет кулаком по столу, обвиняет аксакала в контрреволюции, в саботаже. Значение слова «саботаж» Туребаю не ясно, но о смысле его он догадывается. Свою полную негодования разоблачительную речь Курбанниязов завершает устрашающими посулами: арест, тюрьма. Соловки!

Туребай слушает его молча, насупившись и, когда благородное негодование того иссякает, говорит подчеркнуто спокойно, с неподдельной тревогой в голосе:

— Так что делать будем, товарищ Курбанниязов? Не можете хлебом аулу — по миру пойдём.

Рассудительный тон, хладнокровие аксакала взрывает

заведующего. Он снова кричит и призывает на голову Туребая гнев трибунала.

Так ни до чего они и не договорились. Не дослушав Курбанниязова, аксакал подымается, безнадежно машет рукой и направляется к двери. Вдогонку ему песется ругань. Туребай идет к Джумагулю.

Распроцавшись с аксакалом, Дуйсенбай потолкался среди торговых рядов, но хрома на ичиги не купил — то ли товара подходящего не сыскалось, то ли вовсе не тот товар искал. Затем, приткнувшись в темном углу чайханы, он пил зеленый чай и все поглядывал на улицу. Наконец, когда стали спускаться сумерки, поднялся, пошутал по окраинным переулкам и вышел к дому с высокой застекленной террасой.

Его ждали. Молодой человек в длинном халате молча проводил Дуйсенбая в комнату, освещенную тусклым светильником. На нестрых атласных одеялах, расстеленных вокруг низкого столика, сидело трое мужчин: сам ишан Касым — глава и духовный наставник всех мусульман право- и левобережья Аму-Дарьи (Дуйсенбаю несколько раз посчастливилось видеть его на богослужениях), по обе стороны от него — Кутымбай и Заринбай. Склонившись в низком поклоне, Дуйсенбай почтительно приветствовал старца, пробормотав что-то невятное насчет своей преданности аллаху, его пророку Мухаммеду и полномочному посаднику их на каракалпакской земле — ишану Касыму. Все прошло как нельзя лучше. Ишан наградил Дуйсенбая благосклонным, поощрительным взглядом и пригласил к столику, на атласные одеяла.

Дуйсенбай благоговейно, чуть не на цыпочках, подходит к столу, грузно оседает на колени, отчего брюхо его вздувается пузырем, и вперяется собачьими глазами в ишана Касыма. Он весь почтение, вн раб, он прах у его ног!..

Пока идет тягучая и, в общем, беспредметная беседа, мангитский бай рассматривает старика. Седой, подселеноватый, с прожилками, испаутинившими кожу, — да встретиться такой Дуйсенбаю где-нибудь на дороге, и взглядом бы не удостоил его.

Рассмотрев как следует ишана Касыма, Дуйсенбай искоса поглядывает теперь на старых друзей. О аллах,

что сделал ты с ними за тот год, что они не виделись! Да-а, постарели, одряхлели джигиты. У этого, Кутымбая, морда набрякла, точно две недели в воде замачивали,— ну не иначе утопленник! Другой, Зарипбай, напротив,— сохся, как дыня на солищепеке, только одни глаза и остались.

Чтобы скрыть от присутствующих невольную усмешку, Дуйсенбай поднес к губам кисайку, шумно втянул в себя горячий чай. И поперхнулся. Мысль, страшнее лица Кутымбая, кипятком обожгла ему грудь: а он, Дуйсенбай, он так же, как эти, переменялся, одрях?

Улыбка мигом сошло с лица Дуйсенбая. Ему стало тоскливо и муторно. Что-то закололо в боку.

Деловой разговор начался после появления третьего гостя — Атанияза Курбанниязова.

— Мы пригласили вас, братья, чтоб совместно обдумать один важный вопрос,— заговорил он быстро, решительно.— По сводкам, которые ко мне поступают, заморозки побили зерновые почти по всей области.

Кутымбай удрученно вздохнул, придал своей одутловатой физиономии скорбное выражение.

— Аллах писнослал, а воля аллаха всегда благодать. Тут не печалиться — ликовать и славить аллаха положено,— сказал, будто высек Кутымбая, ишан.

Недозрел, не вышел умом Кутымбай — где ему постичь высокую мудрость божьего промысла! А мудрость, вот она в чем, по словам Атанияза Курбанниязова:

— По моим подсчетам средней дехканской семье хлеба хватит до середины зимы, самое большее — до марта. Какая наша задача? Чтоб хлеб у нее кончился еще до первых морозов. Понятно?— И он обвел собравшихся взглядом полководца, разъясняющего план генерального наступления.— Добиться этого просто. Сейчас чернь повезет зерно на базар — нужно выручить деньги, запастись одеждой, обувкой, жене сережки купить, детишек подарком побаловать... Скупайте! Скупайте все, что вывезут на базар. Без шума. Спокойно. Не сами, конечно. Сами не лезьте: через своего человека, двоих, троих. Ну, а дальше ясно. Как его прятать, учить вас не нужно.

Баи молчали, оценивали про себя всю выгоду и риск этого дела. Первым, покручивая длинный седеющий ус, сказал свое слово Зарипбай:

— Хитро придумано. Пожалуй, попробуем...

— Не прогадать бы!— беспокоило бегая глазками, мялся в нерешительности Кутымбай.

Верный своему обычаю, Дуйсенбай промолчал: куда торопиться? Такое дело с кондачка не решают. Нужно обдумать, взвесить, подсчитать все как следует. Выгодно— не выгодно...

Но Курбаншиязов не давал времени на размышления. Он требовал немедленного согласия и клятвенных заверений, что тонко разработанный им план голодного штурма Советов будет выполнен всеми участниками сегодняшней сходки беспрекословно. Он убеждал:

— Куда ни кинь, со всех сторон вам выгода. Весной этот хлеб тому же бедняку, у которого купил, втридорога продашь. Выгода! Скрутит его голод, за горло возьмет. Кто виноват? Советы! Опять наша выгода. А когда взвост он волком, тут как раз спаситель паши и нагрянет— Джупайдхан со своими верными пукерами только нашего сигнала и ждет. Конец тогда всем революциям, и реформам, и автономиям! Бог, хан и палач — вот кто будет властвовать тогда на нашей земле!

Курбаншиязов вытирает со лба пот, обводит взглядом лица собравшихся: убедил? Но баи молчат, и тогда он наносит последний удар:

— А тем, кто в трудный час выслуживался перед Советами, шел против нас, против нашей святой веры,— кровь и смерть!

— Кровь и смерть!— эхом откликнулся молчавший до сих пор инан Касым.— Потому что вера, не защищенная хлыстом, страшной самой ереси! Аминь!

...В следующее воскресенье — долгий базарный день — цены на зерно круто пошли в гору.

Наступала зима 1926 года...

## 14

— Вас просит к себе Баймуратов.

Это было первое, что услышала Джумагуль, придя в окружком. Конечно, она не ждала, что, увидев ее на сцене, Баймуратов придет в восторг и бросится поздравлять. Но и того, что пришлось ей услышать на этот раз от секретаря окружкома, она тоже предполагать не могла.

Баймуратов встретил ее вопросом:

— Тебе объясняли, зачем ты направляешься в Чимбай, какие обязанности возлагаются на заведующего женотделом?

Джумагуль молча кивнула.

— Выступать на сцене, песенки петь!.. А танцевать не пробовала?

Он прошелся по кабинету, сердито захлопнул отворившуюся дверь.

— Девчонка! Да как ты теперь с людьми разговаривать будешь, какой авторитет?! И свой замарала, и наш— всего окружка!

— Товарищ Баймуратов, мне так хотелось... я думала...

— Ни о чем ты не думала!—перебил секретарь Джумагуль.

Он еще несколько раз из угла в угол прошелся по комнате, остановился перед Джумагуль, сказал поспойкойней:

— Ну, представь, я бы или Ембергенов на виду у всего народа стали кукольный театр разыгрывать! Уважали бы нас, слушали после этого люди? А?.. Ты пойми— разве я против таких представлений? Очень даже полезная вещь, мозги просветляет! Но не в том твоя роль, чтоб самой по сцене походить, — все роли сама не сыграешь. А вот смогла б ты других девушек на это дело поднять, из домашнего заточения вывести, к учебе, к труду привлечь—тогда молодец! Вот в чем она, твоя настоящая роль!

Джумагуль, будто провинившаяся ученица, моргала глазами, не смея вставить слово или тем более возразить.

— В школе дела ни к черту! Женщины как в норах своих сидели, так и сидят. Каждый день со всех сторон только и слышишь — здесь за калым кого-то продали, там за калым кого-то купили, а ты... эх!— И Баймуратов в сердцах шул ногой свалившуюся на пол крышку чернильницы. Поднял, положил на место, снова повернулся к Джумагуль.— Ну, вот что: думай, подбери материал, с Маджитовым посоветуйся—толковый товарищ,— будем твой вопрос на бюро обсуждать.

Джумагуль вышла из секретарского кабинета обескураженная. По простоте душевной ей представлялось, что,



решаясь подняться на сцену, она делает нужное и полезное дело. Во-первых, пример для других. А потом — разве никакого следа не оставит в сердцах зрителей то, что увидели и почувствовали они тогда в доме бакалейщика? Значит, ошиблась, и прав Баймуратов? Наверное, прав. Нужно школой заняться, с женщинами поближе сойтись, что-то делать...

В тот же день вместе с Нурутдином Маджитовым Джумагуль направилась в школу. Собственно, то, что она увидела, школой можно было назвать лишь условно. Старый, облезлый, холодный дом. Земляные полы. Несколько колченогих, неструганых скамеек. Но даже не это привело Джумагуль в уныние — ученики. На всю чимбайскую школу, единственную в городе, этих учеников было всего десятка четыре, девочек среди них — восемь. Школа работала первый год, и потому все они, от мала до велика, занимались в одном классе.

Джумагуль побеседовала с учениками — не очень бойкими, но добрыми, смысленными ребятами, — а когда они разошлись, закрылась в комнате с учителями. Одного из учителей она знала — это была Фатима, которая совмещала преподавание в школе с работой в детском интернате. Двое других — один постарше, другой совсем еще молодой парень — были ей не знакомы. Разговор затянулся до вечера, а на следующий день Джумагуль снова пришла в школу.

Так продолжалось недели две. Баймуратов не торопился, не допытывался, чем занимается заведующая женотделом. «К самостоятельности приучает», — думала Джумагуль, встречаясь с ним в коридоре. Наконец, по прошествии двух недель, собравшись с духом, она вошла в кабинет секретаря окружкома.

— Я готова, товарищ Баймуратов, докладывать на бюро. Может, посмотрите? — И Джумагуль протянула ему несколько листков, исписанных крупным старательным почерком.

— Зачем же сейчас? На бюро и послушаем, что вы там намудрили, — отвел он от себя листки и подмигнул ободряюще, а Джумагуль показалось, что за внешней его беззаботностью скрывается какая-то большая тревога, или печаль, или просто усталость.

Уже несколько дней, приходя на работу, она ощущала какую-то нервную напряженность, парившую в окруж-

коме. Люди, которые всегда, сколько знала их Джумагуль, отличались спокойствием, выдержкой, начинали вдруг горячиться, спорить, кричать. Вопреки своему твердому правилу, Баймуратов дважды отменял прием посетителей. Встретившись в коридоре, работники окружкома о чем-то шептались, но стоило появиться кому-то третьему, и шепот обрывался. Что-то назревало, надвигались какие-то большие события, но какие — Джумагуль разгадать не могла. Однажды, возвращаясь с Маджитовым из окружкома домой, она спросила без обиняков:

— Вы не можете мне объяснить, что происходит?

— Не торопитесь, — загадочно усмехнувшись, ушел он от прямого ответа. — Скоро узнаете.

Заседание бюро окружкома партии началось спокойно, буднично. Ничто не предвещало серьезных столкновений и споров. Первым на повестке дня был вопрос, подготовленный женотделом: о привлечении детей к учебе, о работе школы и интерната.

Очень кратко, в двух-трех словах, Джумагуль напомнила, какое значение придает партия и Советская власть народному образованию, — зачем повторять известные каждому истины? Затем описала состояние дел в интернате и школе, сделала вывод: положение скверное, неудовлетворительное. Необходимо в самое ближайшее время добиться того, чтобы дети, все дети школьного возраста — и мальчики и девочки, — были вовлечены в учебу.

Члены бюро слушали Джумагуль сосредоточенно, сочувственно кивали, поддерживали одобрительными репликами. Так продолжалось до тех пор, пока заведующая женотделом не перешла к следующей, главной части своего выступления.

— Странно получается, очень даже странно! — говорила Джумагуль. — Толкуешь с людьми — все понимают, какое это нужное, доброе дело — детей в школу послать. А спросишь: чего ты сам своего ребенка в доме держишь, в школу не отведешь, — тысяча причин: и живот у его ребенка большой, и за хворой сестренкой присмотреть некому, а главная причина у всех: я бы рад, да, видите ли, жена... Темная личность, пользы своего же ребенка не понимает. В ней-то и сокрыт корень зла — не пускает, и все тут, не переубедишь, никакими силами ее не заставишь!

Одобрительных возгласов стало поменьше. Кто-то за-

ерзал на стуле, потянулся за табаком, другой нагнул голову так, чтоб не было его видно за спиной или за плечом соседа. Но это не спасло.

— Чего же требовать от простых людей — ремесленников, дехкан, торговцев, если дети партийных и советских активистов города в школу не ходят? — продолжала настаивать Джумагуль. — И вам, вам тоже нужно разъяснить значение учебы, законы, которые существуют по этому поводу?.. Нет, не нужно? — В установившейся тишине она обвела взглядом собравшихся, заговорила снова: — Я предлагаю пачать кампанию по привлечению детей в школу с самих себя, с городского актива. Вот тут я заготовила список, послушайте...

Список этот Джумагуль составляла вместе с Нурутдином Маджитовым. Здесь были имена председателя окрисполкома Нурсейтова, заведующего отделом заготовок Атаияза Курбанниязова, председателя общества безбожников Коразбекова и других. Названные пытались было что-то объяснить, оправдаться, у каждого, выяснилось, есть какие-то особые, чрезвычайные обстоятельства. Но Баймуратов не стал их выслушивать. По предложению Джумагуль бюро окружкома приняло решение, которое обязывало партийных и советских активистов города немедленно определить своих детей в школу и тем дать пример всему населению Чимбая и округа. За уклонение предусматривались партийные и административные взыскания вплоть до исключения из партии и снятия с работы. Проект, предложенный Джумагуль, был принят без всяких поправок.

— У вас все, товарищ Заринова? — спросил Баймуратов после голосования.

— Нет. Еще несколько слов, — снова поднялась Джумагуль. — Мы здесь говорили о привлечении к учебе городских ребят. В аулах дела обстоят еще хуже. Оно и понятно: здесь школа рядом — утром ребенок ушел, днем вернулся. А там отправляй его невесть куда, раз в году и увидишь только. Что тут поделаешь? Нужно, говорит нам партия, добиться того, чтоб, значит, не только ученик к школе, а чтоб и школа к ученику шла, чтоб в каждом ауле, каждом кишлаке своя школа была. Что для этого нужно? Кадры, которые знают язык и на первых порах самое начальное образование дать могут. В Турткуле такие годичные курсы созданы, готовят учителей.

Нужны и нам курсы, да не когда-нибудь в будущем, а сегодня, сейчас.

Баймуратов и тут поддержал Джумагуль. Несколько слов сказал Ембергенов. Записали: создать курсы для подготовки учителей начальной школы, привлечь к заплатам на них людей, владеющих каракалпакским языком, выпускников направить в сельскую местность для организации начального образования на местах.

Джумагуль вернулась на место довольная—все, о чем думали они с Нурутдином Маджитовым, стало теперь законом. Взволнованная, возбужденная, она не очень прислушивалась к тому, о чем говорилось дальше, и только когда между участниками заседания разгорелся спор, собралась, сосредоточилась.

— Никакие погодные условия не дают нам права просить вышестоящие органы об освобождении дехкан от обязательных поставок!— горячо говорил Курбанниязов.— План есть план, и государство должно получить от нас все, что положено!

— А если люди от голода пухнуть будут, это хорошо? Государству нашему это нужно?— перебил его вопросом Баймуратов.

— Нас освободить от поставок, других, третьих — тогда все государство опухнет от голода, рабочий класс! Этого вы добиваетесь?— гневно обрушился на Баймуратова заведующий отделом заготовок.— Узко вы смотрите, товарищ секретарь! Местническим такой подход называется.

В разговор вмешался Коразбеков:

— Других освободить от поставок, третьих, десятых... Зачем же так ставить вопрос? Демагогия! У нас плохо, о некоторых наших аулах и идет разговор.

— Плохо, говорите?— не отступал Курбанниязов.— А вы сходили бы на базар. Эти ваши несчастные, голодные дехкане зерно продают, да по каким ценам! Сотни загибают, тысячи! А вы слезы тут над ними льете! Революция — это...

— Знаем, знаем: железная дисциплина и никакой пощады,— подсказал кто-то из членов бюро.

— Правильно. Говорил и говорить буду!— парировал Атанияз Курбанниязов, а Джумагуль подумала: «Так вот от кого я это слышала, вот на кого намекал тогда Ембергенов!»

— Поэтому и продают, что цены такие. Потом локти кусать будут. Локти, потому что больше нечего будет кусать,— поднялся Ембергенов, подошел к столу.— А цены... Есть у нас такое подозрение, что цены за последние дни подскочили не только оттого, что заморозки часть урожая побили. Тут, кажется, еще одна причина имеется: кто-то крупные закупки делает, бешеные деньги швыряет, чтоб поменьше зерна у дехкан осталось. Хитро задумано, ничего не скажешь!

— Кто они? Отчего не поймали?— спросил Нурсеитов, и многим послышались в его голосе тревожные нотки.

Ембергенов ответил спокойно, как показалось Джумагуль, с каким-то намеком:

— Не торопитесь.

Снова поднялся Курбанниязов.

— Думаю так: обязать все хозяйства в срок и по установленной норме сдать зерно на заготпункты. Первое. Кто не сдаст, будет уклоняться от выполнения госпоставок — именем революции отобрать насильно, экспроприровать, виновных судить. Все!

— Круто берет Курбанниязов, железная хватка!

— Не для себя — для общего дела старается, душой за наше дело радеет,— снова пришел на помощь Курбанниязову председатель окрисполкома.

Коразбеков вставил с едкой усмешкой:

— Так радеет, что душу из дела воп...

— А вы считаете, нужно пухом стелить, ласковыми словами упрямивать?!— набросился на него Курбанниязов.

— Кто еще сказать хочет?— обвел взглядом собравшихся Баймуратов.— Нет желающих? Тогда, что же, на голосование?.. Ладно... Только прежде попросим товарища Ембергенова дать одну справку.

Оракбай подошел к столу, достал из брезентовой сумки какие-то бумаги, неторопливо разложил перед собой.

— Тут товарищ Курбанниязов советовал нам дознаться, кто эти оптовые закупки зерна на базаре делает. Спасибо за правильный совет. Ну, мы и своим умом как-то дошли до этого... Вот, на прошлой неделе троих скупщиков задержали. Допрос по всем правилам произвели. Имеются протоколы,— и он поднял в руке несколько исписанных листков.— Интересное дело получается! Ока-



залось, сами-то скупщики люди небогатые, и откуда только деньги у них на оптовые закупки берутся? А вот откуда, выясняется...— Ембергенов сделал паузу, поднес к глазам один из листков, начал читать:— «Деньги на покупку зерна дал мне Юсуп, родственник начальника Атаняза. Ему и передал я арбу с зерном, а куда он отвез, этого не знаю». Другой документ: «Зерно покупал за деньги, которые дал мне сапожник Мухаммед. Говорил, деньги эти принадлежат «Белой шапочке» — значит, нашему большому начальнику. Мне за работу было уплачено все, как был уговор. Потому к сапожнику Мухаммеду претензий не имею...»

— Ложь! Это ложь!— вскочил Курбанниязов, выбежал на середину комнаты.— Оклеветать честного советского работника, чтоб расправиться с ним,— это известно, это старый прием классовой гидры! Но мы не позволим, мы...

— Сядьте, Курбанниязов. Успокойтесь. Ваше слово потом,— постучав пальцем по столу, произнес Баймуратов и повернулся к Ембергенову:— Продолжайте.

Неторопливо, спокойно читал Ембергенов протоколы допросов. Теперь рядом с именем Курбанниязова замелькало еще одно — Нурсеитова. Члены бюро слушали молча, сосредоточенно, лишь время от времени бросая косые, враждебные взгляды на притихшего, будто в помрачение вливавшего Нурсеитова, на багрового, дергавшегося, как кукла на нитке, Курбанниязова.

«Значит, вот о чем шептались в последние дни работники окружкома, отчего таким невеселым, встревоженным был Баймуратов»,— догадалась вдруг Джумагуль, и почему-то припомнилась ей давняя, первая встреча с Нурсеитовым. Запугивал, криком кричал на нее, чтоб удержать от побега в Турткуль. Теперь поняла, теперь все становится ясно...

Поздно ночью бюро окружкома вынесло решение: Нурсеитова, председателя исполкома, Курбанниязова, заведующего отделом заготовок, из партии исключить. Председателем окружного исполнительного комитета рекомендовать товарища Гафурова...

Из здания окружкома Нурсеитов и Курбанниязов вышли под конвоем,

За неделю, прошедшую после бюро, число учащихся в школе удвоилось. Это были дети руководящих работников города. Не обошлось и без шумных, иногда со слезами, а иногда с угрозами схваток.

Однажды, на третий или четвертый день, в кабинет Джумагуль ворвалась полная краснолицая женщина в широком платье. На груди у нее, точно ботало на шею верблюда, раскачивался огромный, с добрый арбуз, медный амулет. Прямо с порога она бросилась в бой:

— Чтоб сторела дотла твоя школа! И ты вместе с пей! Почему заставляешь дочь мою в школу идти? Какое дело тебе до моего ребенка?! Что захочу, то и сделаю с ним — мой ребенок!

— Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста, — едва слышно произнесла Джумагуль, ошеломленная таким бурным патиском. — Вы кто?

— Я? — искренне удивилась женщина. — Весь город знает меня! — И отрекомендовалась с апломбом: — Кызларгуль — можешь запомнить! Кызларгуль, жена Коразбекова!

— Будем знакомы, Кызларгуль, жена Коразбекова, — уже овладев собой, промолвила Джумагуль с едва приметной усмешкой. — Так что вам не правится в решении бюро?

Женщина, усевшаяся было на стул, вскочила, воинственно подалась вперед:

— А мне ваши решения что пылипка на ноготь: фу — и пет! Взяли право себе своей головой за всех думать! Сейчас не старое время — Советская власть, никто приневолить меня не может! Как захочу, так и буду жить! Захочу — отдам свою дочь в школу, а не захочу, так и вовсе... — Кызларгуль не нашла подходящего слова, но в движении ее головы было столько гордости, что догадаться о содержании недосказанных слов было уже нетрудно.

Джумагуль не удержалась от смеха:

— Интересно вы понимаете Советскую власть! Свобода! Кто как захочет, так и живет!

— Именно. А за что же иначе мой муж воевал?

— За то, чтоб люди жили по закону правды и справедливости. Вы понимаете — по законам!

— А если не правится мне тот закон? Ну, про школу, к примеру?

— Ничего не поделаешь — подчиняйся. Потому что закон этот мудрый и правильный. Пойдет по нему ваша дочь — прямая дорога к счастью, — терпеливо разъясняла Джумагуль, но жена Коразбекова — упрямая женщина, нрав крутой, и убедить ее — дело нелегкое.

— Да чего вы меня на аркане в рай тащите?! Сама небось путь свой найду. Сказала, не пойдет моя дочка в школу — и не пойдет! Зачем? Учись — не учись, в конце-то концов все равно к котлу да к колыбели придет. Как я. Как моя мать. Как все мы, женщины. Или, думаешь, лучше как ты: такой грамотной стала, что муж из дому выгнал. Не дай бог, чтоб из-за этой учебы и моя дочка век свой во вдовьем одиночестве мыкала! Унаси нас, господь!

Понимала ли Қызларгуль, какой удар наносит собеседце, или делалось это без злого умысла, но удар достиг цели. Джумагуль побледнела, холодным и строгим стал ее взгляд, сказала сухо, официально:

— Если завтра вашей дочери в школе не будет, товарищу Коразбекову придется попрощаться с партией... и с работой тоже!

— Это ты, ты будешь его исключать из партий? — возмутилась Қызларгуль и, казалось, выпустила коготки, готовая по-кошачьи вцепиться в Зарипову. — Да он своими руками Советскую власть здесь устанавливал! Таких, как ты, из грязи вытащил! Если б не он, ты бы сейчас... тебя бы, может, и на свете давно не было! Пугает!..

— Никто не пугает и не спорит с вами: ваш муж — один из активных участников установления Советской власти в Каракалпакии. Но даже это не освобождает его от выполнения советских законов! Наоборот: именно он должен быть примером для всех... И вот что еще: есть поговорка — «Честь мужа в руках его жены». Бесчестие тоже.

— Это ты обо мне такие слова? Обо мне?!

— А то, бывает, у супруга заслуга, а жиреет его подруга.

И без того красное лицо Қызларгуль стало пунцовым. Она метнула на Джумагуль уничтожающий взгляд, быстро пошла к двери.

— Так и передать товарищу Коразбекову?

— Так и передайте. Можете напомнить еще, что,

если завтра его дочери в школе не будет, товарищу Ко-разбекову придется партийный билет положить на стол — решение бюро окружкома.

Кызларгуль ушла, громко хлопнув дверью.

Была середина дня. Заведующую женотделом ждали в школе. На четыре часа была назначена встреча с Нурудином Маджитовым. Сказавшись нездоровой, Джумагуль ушла домой, легла, укрылась с головой одеялом.

Сколько раз уже приходилось ей выслушивать эти оскорбления: ты сперва свою жизнь наладить сумеешь, потом нас учить будешь! Припомнила слова Баймуратова при первом разговоре в его кабинете: «Замужем?» — «Нет». — «Нелегко вам придется...» Тогда не поняла, по догадалась, о чем идет речь. Теперь на собственной шкуре почувствовала... Что ж, может, и правы они, и Джумагуль как тот мулла, про которого сказано: следуй его совету, да не следуй его примеру. Но разве она виновата? Разве должна была безропотно спосить побои, на коленях вымаливать у мужа прощения? Прощения за что? За то, что не сына, а дочь родила? Что он вернулся домой в дурном расположении духа? Просто за то вымаливать у него прощения, что она женщина? Нет, не в чем ей каяться, ни в чем она не виновата ни перед ними, ни перед бывшим мужем своим! Но каждой не объяснишь, не станешь перед всякой душой выворачивать наизнанку... Как же ей быть?.. А если для дела, которое ей поручили, она должна стоять перед женщинами с открытым лицом — замужняя, семейная: есть у нее право других поучать!..

Словно в тумане, она вспоминает ту ночь после спектакля, после того, как рассталась на углу с Ембергановым, и ей становится стыдно, до содрагания, до удушья. Сама не поймет, что это тогда с нею случилось. Какая-то блажь, хмельной угар... Через несколько дней приходила к ней Фатима, предложение Емберганова передавала: нет жизни джигиту без нее, Джумагуль. Отказала — не любит. А может, нужно бы согласиться — для доброго дела, чтоб право иметь?.. Глупости! Разве можно ценою лжи перед собой, сговора с собственной совестью стать для других пророком истины? Нельзя. Не должно...

Джумагуль вспоминает, как после тяжелого разговора с Турумбетом, когда он явился к ней в кабинет, она ощутила неодолимую потребность доказать себе свою не-

зависимость, свое право жить, презирая обычаи, не обращая внимания на людскую молву, подавив в себе и рабские чувства, и собственные представления о приличиях заодно. Отсюда выход на сцену. Но отсюда же и та ужасная почва... Самоутверждение личности!.. Странное дело: отчего оно сопровождается зачастую желанием рушить и низвергать все, что ни попадется под руку,—вокруг и в себе, дурное и доброе, старые традиции и новые законы? Не оттого ли, что рушить и низвергать всегда легче, быстрее, не от подспудного ли сознания, что нет способа лучше привлечь к своей личности внимание окружающих, нежели учинить привселюдно шумный скандал?.. Но есть другой путь утверждения своей личности — путь трудный, нередко опасный, всегда благородный: под пулями басмачей, сквозь козни затаившихся врагов, подавляя в себе мелкое, ничтожное, рабское, насаждать на земле и в душах людей закон свободы и братства, человеческого достоинства и гуманизма — закон Революции.

Утром, полная сил и какой-то юной свежести, Джумагуль побежала в школу.

— Сколько сегодня?— еще с порога спросила она Фатиму.

— Одна новенькая — Коразбекова.

Джумагуль улыбнулась, по-ребячьи подмигнула жене Нурутдина:

— Подействовало.

После занятий вместе с Фатимой она пошла в интернат. Маджитов был уже там.

— Ребята!— сказала Джумагуль, когда все воспитанники собрались в большой комнате.— Есть важное дело. Это как военная операция. Без вашей помощи не обойтись.

Лица детей стали серьезными, глаза зажглись любопытством.

— Вы согласны выполнить особое поручение окружка?— продолжала искусно интриговать детей Джумагуль.

— Согласны! Согласны!— откликнулись интернатовцы хором.— Какое поручение?.. А наганы выдадут?

— Наганы на этот раз вам не понадобятся. Только карандаши и тетради.— И Джумагуль раскрыла перед ними план операции: нужно было, разбив Чимбай на несколько участков и сформировав соответствующее ко-



личество бригад, обойти весь город — каждую улицу, каждый двор, — обойти и переписать всех детей школьного возраста. Командовать всей этой операцией будет Мукапов.

Это была первая в истории Чимбай перепись населения, и относилось к ней население по-разному. Одни радушно открывали перед ребятами двери домов, давали все необходимые сведения. Другие гнали их со двора, как только те вынимали из карманов карандаши и тетради. Ребята терпеливо разъясняли жителям, зачем они составляют списки, и случалось, после этого хозяева отвечали на все их вопросы. Но бывало и так, что никакие уговоры не помогали. Тогда ребята наводили нужные справки у соседей, а если и это не удавалось, шел сам Мукапов.

Конечно, составление списков было лишь началом большой работы по вовлечению детей в школу, но теперь по крайней мере эта работа приобретала конкретность: стало известно, кто не пускает детей в школу, с кем предстоит говорить, а если уговоры не помогут — бороться. По предложению Джумагуль каждому из школьных учителей и воспитателей интерната вменялось в обязанность в ближайшие две-три недели привести в класс по два—по три новых ученика.

Дни проходили в заботах, в делах, а иногда и в тревогах: девушка, уже месяц посещавшая школу, неожиданно исчезала. Приходилось на время становиться следователем и выяснять, в каком ауле, у каких дальних родственников ее спрятали. И все же запруда была прорвана — волна за волной заливала Чимбай река новой жизни.

## 16

Нельзя сказать, что весть об аресте Атаняза Курбанниязова и Нурсейтова, с которым он встречался всего один раз, потрясла Дуйсенбая. Или вызвала в душе его приступ острого сострадания. Или как-то меняла его планы на жизнь. Планов у него больше не было. Была пустота, в которую время от времени врывались какие-то лица. Они нашептывали сладкие речи, сулили что-то небьютное или стращали, запугивали страшными карами, адскими муками и, вырвав у него деньги, пару коров

или меру зерна, растворялись. Потом появлялись снова, и все повторялось сначала... Нет, арест окружного начальства не огорчал Дуйсенбая. Просто подумалось, что эти лица больше не возникнут из тьмы, и пустота, показалось, стала еще более гулкой.

Скоро год как уехал Турумбет на учебу. Когда посылали, думали, разыграет в нем мужское достоинство, прикончит там эту беспутную. А она, беспутная эта, в Чимбае сидит, судьбами людскими управляет. О времена! Но почему тогда Турумбет в Турткуле скрывается, если ее, Джумагуль, жены бывшей, там уже нет? Неужели и вправду решил мудрость науки постичь? Турумбет и наука — смехота!.. А жаль. Был рядом, так в карты хоть сыграешь. Теперь — что? С самим собой играть скучно. С Ходжаниязом опасно — того й гляди обжулит, из припрятанной колоды карту выбросит. Жох... В былые времена такой далеко бы пошел, теперь не дадут разгуляться.

После той сделки с наймом батраков на рытье канала, когда Ходжанияз выторговал себе у Дуйсенбая новую юрту, отношения между ними сложились нормальные: ты — мне, я — тебе, обоим от этого выгода. На сходках дехкан, на собраниях тозовцев батрачком грудью стоит за Дуйсенбая — нечего с него больше брать, это уж не обложение, а грабеж, совсем разорили хозяйство! После сходов и собраний дехкан дом батрачка то новым паласом украсится, то духом жареного барашка наполнится. Нормальные отношения.

А на прошлой неделе такую услугу оказал батрачком Дуйсенбаю — два туркменских ковра, и то мало. Прислышал Ходжанияз в чайхане, будто аксакал вернулся из города, своих людей собирает. Батрачком, хоть его и не звали, туда же. А что — разве не свой? Пришел, сел на почетное место, людей шутовством забавляет. Туребай персбил — серьезное дело. Стал рассказывать — и правда, серьезное. ОГПУ раскрыло целую шайку врагов, которые на базаре зерно у дехкан скупали, в потайные ямы закапывали, чтоб к весне людей без хлеба оставить, голодом изморить. Есть подозрение, что и Дусенбай причастен к этому делу — скупал, обменивал на баранов, прятал. Окрисполком приказал произвести у Дуйсенбая обыск и, если подозрение оправдается, зерно конфисковать.

Прослушал батрачком сообщение Туребая, страшными проклятиями обрушился на головы подлецов, а как стемнело, задворками подался к Дуйсенбаю.

— Отец, Советская власть в большей обиде на вас. Зачем зерно на базаре скупали, в ямы потайные закапывали? Так и людей до голода довести недолго.

Прежде всего, по своему обыкновению, Дуйсенбай прикинулся певшиной овечкой: и видом не видывал, и слыхом не слыхивал — какое зерно? Какие закупки? Ну, правда, кое-что подкупал, так это для себя — чтоб на виму хватило. Но когда Ходжанияз предупредил его о готовящемся обыске, Дуйсенбай разволновался, забегал по компате, признался: скупал-таки, чтоб оно сгнило!

— До утра не сгниет, — резонно заметил батрачком, отхлебывая из кисайки горячий чай.

— А что ж теперь делать? Что делать? — заламывал пухлые руки Дуйсенбай.

— Вот всегда, отец, с вами так: таитесь до последнего часа, а как прижмет — на тебе, выручай! Нет, чтобы заранее мне все рассказать, — не знали бы лиха!

— Верно, верно, родной! Ты только сейчас... Будь спасителем! Век не забуду!

Ходжанияз надолго задумался. Конечно, того количества зерна, что под айваном закопано, в одну ночь двоим не перетаскать. Однако другого выхода не оставалось. К тому же единственным местом, куда можно сейчас перепрятать зерно, был его же, Ходжанияза, амбар, и батрачком предложил:

— Ко мне... Больше некуда... Хотя, понимаете сами, и риск для меня большой — вдруг кто заметит! — да и труд тоже немалый. Впрочем, чего не сделаешь для вас, Дуйсеке!

Всю ночь, обливаясь потом, спотыкаясь в темноте о коряги, будто воры, таскали они тяжелые, набитые до отказа мешки. Сухопарому Ходжаниязу работа давалась полегче. Дуйсенбай, заплывший жиром старик с животом, вздувшимся гигантской грушей, к рассвету едва передвигал ноги.

— Передохнем? — уже не раз предлагал батрачком, но Дуйсенбай торошил:

— Еще одну ходку, душа моя! Еще одну...

Когда рассвело и переброску зерна пришлось прекратить, Дуйсенбай заглянул в яму и тяжело вздохнул: едва

ли четвертую часть успели выбрать они за эту ночь — первую трудовую ночь в жизни бая.

Разглядывая заваленный мешками амбар, Ходжанияз с удовлетворением потирал натруженные руки: подарком поработал. Растянувшись на подаренной Дуйсенбаем кошке, он заснул глубоким, спокойным сном.

А Дуйсенбаю не спится: сейчас придут, сейчас откроется яма, и он полетит туда, и его зароют в зерне. Зерно набивается в уши, в нос, в рот. Ему нечем дышать — он задыхается!.. Дуйсеке вскакивает, ошалело водит глазами по комнате: нет, еще не пришли, пока еще можно что-то придумать...

В полдень, бледный, с набрякшим лицом, он является к Туребаю. Долго расспрашивает того о здоровье, о городских новостях, о том, как растут близнецы, и под конец заявляет:

— Слыхал, с хлебом плохи дела, цены на базаре — не подступишься, людям есть нечего. Так я, Туреке, что хотел предложить: имеются у меня кой-какие припасы, пусть бы, кто победней, взял у меня. На будущий год, даст бог, урожай будет обильный — вернут. А не вернут — тоже ладно. Только б не видеть голодные лица. Сердце болит.

— А ты как же? — спросил Туребай, никак не ожидавший от Дуйсенбая такого благородства и самопожертвования.

— А я что? Семья небольшая, как-нибудь обойдемся. Чего мне теперь нужно, Туреке? Добрую память в людях по себе оставить.

Дуйсенбай сам привел Туребая к яме под айваном, сам помогал грузить зерно на арбу и, щеголяя своей добротой, широко улыбался, шуткой подбадривал людей. Когда погрузили последний мешок, он подошел к Туребаю и, будто преодолевая неловкость, промолвил не смело:

— Память людская на добро не очень-то крепкая, душа моя аксакал. Мне бы расписочку, так, для порядка.

С расписочкой, скрепленной оттиском Туребаева пальца, он проводил арбу за ворота и, вернувшись в дом, долго подсчитывал в уме убытки и прибыли. Убытки, конечно, были тяжелые. Но и прибыль какая-то тоже была: пусть теперь скажут, что Дуйсенбай против новой власти идет! Расписочка — она документ.

А что до зерна, так не последнее стдал: слава богу, хватило ума другую яму вырыть в турачгиловой роще.

В кабинет Гафурова — нового председателя окрисполкома — Туребай входил с внутренней дрожью: не пропали даром уроки Шурсеитова. Эта робость объяснялась еще и тем, что Гафуров, как успел прослышать от людей аксакал, из больших начальников вышел — поговаривали, будто раньше в ТуркЦК он работал, с самим товарищем Фрунзе Бухарский эмират крушил, сейчас в Каракалпакию брошен на укрепление.

Против ожиданий Гафуров оказался человеком простым и уважительным: завидев Туребай, поднялся, вышел навстречу, дружески пожал ему руку. Со всеми положенными почестями отнесся к аксакалу и другой мужчина, что был в кабинете, — молодежавый, лет двадцати пяти — двадцати семи, не больше, русский с голубыми глазами и очень светлой, похоже, прозрачной, кожей лица.

Гафуров представил:

— Козлов Александр Александрович, наш человек, с двадцатого года в Туркестане. Раньше в Сормове на заводе работал. На такого, как на себя самого, положиться можно — не подведет. Так говорю, Саша?

— Да, так, только больно красивый портрет с меня нишень. Как для выставки.

Посмеялись, подмигнули друг другу, потом Гафуров сказал:

— Туребай Оразов — аксакал Мангита. Вот с ним и будешь работать.

Туребай удивился: как это они будут вместе работать, какое у них совместное дело? Но спрашивать, кидаться наперерез человеку с вопросами — не в традициях каракалпака. Нужно ждать, и со временем все объяснится. Терпение, Туребай, терпение! И Туребай ждет до тех пор, пока Гафуров не начинает рассказывать сам. Начинает он так:

— Не стану учить тебя политграмоте — сам понимаешь: социализм — это, кроме всего остального, создание такого количества продуктов, чтоб хватило на всех. А как добьешься этого, если из года в год тот же урожай соби-



раем — немного побольше, немного поменьше. Так говорю, аксакал?

Туребай кивнул утвердительно.

— Ученые говорят, с той же земли можно взять в пять, в десять раз больше! А что для этого нужно? — Гафуров сделал короткую паузу, загасил папиросу, сам же на свой вопрос и ответил: — Нужно, положим, для этого много. Но все по порядку. Сегодня необходимо копчатъ с кустарными дедовскими способами обработки земли — с омачом, волами, с чигирем — словом, со всей феодальной рухлядью! Вместо нее — тракторы, железные плуги, сеялки, а там и комбайны.

— Ты бы попроще, а то тракторы, комбайны... Сказал бы еще электростанции! — произнес Александр по-русски и сам очень доходчиво, по-крестьянски стал объяснять Туребаю смысл этих загадочных для него вещей. И хотя в рассказе его каракалпакские слова путались с русскими и узбекскими, Туребай хорошо понимал Александра.

— В общем, так, — подвел черту Гафуров. — Государство за свой счет дает вам машины для обработки земли, строит в вашем ауле МТС — первую в округе, а вы уж давайте, другим пример покажите!

— МТС — это что? — спросил Туребай.

— МТС — это машинно-тракторная станция, ну, одним словом, кузница социализма в ауле. Понятно? Значит, забирай с собой Александра, устрой его там к кому-нибудь на квартиру и за дело.

— Товарищ Александр поедет в аул? — переспросил Туребай, не уверенный в том, что правильно понял слова Гафурова.

— К вам поедет, надолго, а может, и насовсем. Для того и прислан.

— Я сейчас по дороге на несколько дней в Турткуле останавливался, в общежитии. Так мне там парень один попался — из ваших, мангитских, — много интересного про аул рассказал. Про вас, про батрачкама Ходжанияза, Бибайым, Дуйсенбая.. Со всеми перезнакомил.

Туребаю хотелось спросить Александра, кто такой этот парень, но и на этот раз решил потерпеть: в конце концов все само собой должно выясниться, без лишних вопросов.

— Вместе с ним и приехали сегодня в Чимбай, — продолжал Александр, — Хотел топать прямо в аул, я

удержал: подожди, говорю, пойдем в четыре поги — веселей будет.

— Ну что ж, желаю успехов! — протянул на прощание руку Гафуров. — Освоишься — приезжай. Потолкуем. — И к Туребаю: — В обиду его не давайте. Под вашу ответственность, аксакал.

Только теперь, когда Александр встал, Туребай как следует разглядел его крепкую, словно литую, фигуру — широкие плечи, под рубашкой вздутые бугры мышц. «Да, такого обидеть, — подумал Туребай уважительно. — Такой как бы сам кого не обидел».

Спустившись с крыльца исполкома, Александр обвел взглядом площадь, произнес удивленно:

— Куда это попутчик мой девался? Или наскучило ждать — сам пошагал?

Они заметили его одновременно. Из переулка, втекавшего в площадь, неторопливой походкой вышел мужчина в городского покроя костюме, с пальто, переброшенным через руку, и с ярко-оранжевым чемоданом в другой. Это был Турумбет.

Ничто так не поражает в старом знакомом, как внешние перемены. Внутренние, если они и произошли, открываются не в первый момент, постепенно. Внешние бьют в глаза сразу.

Аксакал замер. Турумбет, который годами не менял рубахи и пыль с сапог смахивал лишь по большим праздникам, вечно небритый и заспанный, — Турумбет стоял перед ним во всем блеске городского щеголя. Неизвестно было даже, как теперь с ним разговаривать, — по-прежнему или по-новому обычаю именем отца величать?

Турумбет подошел, протянул аксакалу руку, спросил обо всем, о чем положено спросить человека после долгой разлуки. Туребай отвечал, хотя ему и казалось, что ученый земляк слушает его вполуха, что все рассказы об аульных делах Турумбету до крайности безразличны. Именно это обидное чувство и заставило его замолчать.

— Ну, справился со своими делами? — спросил Александр у Турумбета. — А то я готов. Нам с товарищем аксакалом теперь побыстрее бы в аул.

Турумбет заколебался, ответил невинно, уклончиво:

— Мне бы с одним человеком здесь повидаться, да не знаю...

— В окроно?

— Там побывал. С Маджитовым разговаривал. Сказал, сам придет открывать у нас школу, когда помещение подыщут.

— Ну, так чего еще? Поехали!—поседал Александр.

— Да мне бы с человеком одним встретиться пужно...—И в глазах Турумбета мелькнула какая-то пезнакомая грусть. Туребай догадался: о Джумагуль говорит, с ней хочет встретиться. Но виду не подал, отошел, стал поправлять па кобыле сбрую.

Александр уговорил Турумбета — не пошел искать человека, с которым хотел повидаться. Вслед за Туребаем и Александром он взобрался на арбу, и арба покатила по раскисшей от весенних дождей тряской дороге.

## 18

Третью ночь Джумагуль не смыкает глаз: задыхается, стопет в бреду ее девочка.

— Выпей, маленькая, ну, выпей, родная!

Но голова Тазагуль бессильно падает на подушку, лекарство проливается на пол.

Врач, которого привела Джумагуль, поставил диагноз — крупозное воспаление легких, выписал лекарства, сказал, что нужно делать и как ухаживать за больной. Только что проку во всех его лекарствах и наставлениях, если Тазагуль день ото дня хуже! Вчера еще разговаривала, глаза открывала — сегодня совсем не приходит в сознание. Что же делать? Что делать?..

В отчаянии уронив на колени голову, Джумагуль рыдает, на десятки ладов — то ласково и просительно, то призывно и требовательно — повторяет имя ребенка, в бессилии призывает аллаха.

Теплая человеческая рука ложится на плечо Джумагуль. Она разгибается и сквозь слезы, застлавшие глаза, с трудом различает крупное женское лицо. Кто она, эта женщина? Где-то встречалась с ней Джумагуль.

Женщина обнимает Джумагуль, притягивает ее к себе, и Джумагуль доверчиво прижимается мокрым от слез лицом к пышной груди, на которой висит огромный, с добрый арбуз, медный амулет. Она не спрашивает ее имени, не интересуется, зачем и почему эта женщина

здесь. Да и к чему все вопросы, если человек приходит к тебе в такую минуту?..

До рассвета, тесно прижавшись друг к другу, сидят над постелью ребенка Джумагуль и жена Коразбекова. Каждый вздох, каждый стон Тазагуль то тенью тревоги, то светлым лучом надежды ложится на их утомленные лица, такие разные, несхожие, чужие...

Чужие?..

Утром девочке полегчало. Жар, который мучил ее, начал сходить. Тазагуль открыла глаза, слабым, сдавленным голосом попросила воды и снова упала головой на подушку.

Ушел врач, осмотревший больную и клятвенно заверивший мать, что все опасности позади и девочка будет жить. Ушел забегавший ненадолго Маджитов — торопился встретить жену, третьего дня уехавшую в дальний аул. Ушла, оставив на столе чай и горячие лепешки, сердобольная соседка. Кызларгуль — жена Коразбекова — не торопилась. Сидят, лишь время от времени перекинутся словом, обменяются взглядом уставшие женщины.

— Ты бы легла.

— Посижу.

— Которое лекарство капать теперь?

— Я сама.

И после долгого молчания снова:

— Дышит вроде полегче, а? Послушай.

— Хрип пропал, главное.

Сквозь щели в затворенных ставнях пробивается солнечный луч. Изредка с улицы долетит то скрип арбы, то лай, то резвый ребячий вскрик. В комнате тихо, сумеречно, покойно.

— Ты прости меня, что я тебя тогда так... — негромко говорит Джумагуль и сжимает женщине руку.

— Я «прости»? — искренне удивляется Кызларгуль. — Дурой была, вот и все! Спасибо, глаза мне открыла.

На этот раз молчание длится недолго.

— А знаешь, вот бегаем мы, ругаемся, радуемся, если что-то по-нашему получается, плачем, когда не выходит... И вдруг со смертью встречаешься... Не своей — вообще...

— С чего это тебя на кладбищенские раздумья потянуло? — перебивает жена Коразбекова.

— Нет, ты послушай... Смерть... И вдруг все то, что

было твоим счастьем, твоим горем, из-за чего мучалась, ночей не спала,— все вдруг становится в твоих глазах таким пустым, ничтожным, глупым... Не думала об этом?

— Отчего же не думала? От этих мыслей, милая, никто не уйдет. Смерть, она многих вещей истинную цену устанавливает — где чистое золото, а где подделка... — И, поразмыслив, обведи ясным взглядом Джумагуль, слящего в постели ребенка, жена Коразбекова добавила: — Только нельзя, неправильно это — ценности жизни мерять глубиной могилы. Так, душа моя, мудрые люди, слыхивала, толкуют...

## 19

Весть о создании МТС встретили в ауле с настороженностью и опаской: что она за штука такая, к добру или к злу? Мнения высказывались разноречивые.

— Деда и прадеды наши не глупее нас были, а чтоб железом землю копать, которая, как мать родная, человека кормит, такого никогда не бывало,— рассуждали те, кто стоял поближе к Мамбету.

— А русские люди железом и пашут, и жнут, а хлеб их не хуже нашего,— возражали другие.

— Ну, русские нам не в пример — они и свинину едят!

В первые дни даже Туребай этому доводу ничего не мог противопоставить.

Но, как это часто бывает, там, где бессильны слова, лучшим доводом оказывается дело.

По приезде в аул, не дожидаясь общих собраний и коллективных решений, Александр, засучив рукава, стал к наковальне. Салий — единственный в Мапгитте кузнец — только диву давался, как ловко орудует Александр клещами и молотом, какие чудеса творит он с железом. Будто и вправду оживало оно в руках русского мастера. Такое искусство в глазах рабочего человека многое значит. И Салий — опытный кузнец, не одного коня на своем веку подковавший, ошиновавший не одно колесо,— проникся к приезжему почти благоговейным уважением. Он добровольно взял на себя обязанность подмастерья — раздувал мехи, шуровал уголь в печи, закалял или отпускал поковку и при этом не сводил глаз с Александра, с его рук.



С Салия все и началось. Однажды, пока в горле раскалялся металл, он спросил Александра:

— Скажи, брат, как понимать это слово твое — МТС?

Занятый делом, Александр не стал вдаваться в подробности:

— МТС — это кузница. Только в этой, в твоей, мелочь куют, а там... Ну, как бы это тебе попроще сказать?.. Там куют народный достаток. Ясно?

С этого дня Салий стал самым рьяным агитатором за МТС. Кто бы ни пришел, ни заглянул к нему в кузницу — а в весеннюю пору редкий дехканин обойдет ее стороной, — первым делом он должен был выслушать проповедь кузнеца. Эмтээс превратилась в его устах в мэтэсэ, а Александр именовался теперь Мэтэсэ-джигит. И чем больше людей посещало кузницу Салия, выслушивало его горячие речи, тем больше сторонников МТС становилось в ауле. Впрочем, самые высокие доводы в пользу машинно-тракторной станции дехкане уносили все же не в голове, забитой путаными объяснениями Салия, а в карманах или на плече — искусно выкованный Мэтэсэ-джигитом кетмень, починенный после многих лет бездействия ржавый замок и даже — гордость владельца — ходики.

Особым испытанием для авторитета приезжего стал чигирь — простейшее водоподъемное колесо. Простейшее — оно, конечно, простейшее — хитрого в нем ничего нет, а вот за зиму, пока не работало, что-то разладилось в нем, и теперь, сколько ни бьются дехкане, ни с места. Уже и подымали, и опускали его, и в воду под черпаки лазили — вдруг там, под водой, что цепляет, — а чигирь будто мертвый. Тут и кипулись люди за Мэтэсэ-джигитом. Осмотрел его мастер, деревянную ось, которая от влаги разбухла, металлической заменил, на кольца поставил, и завертелся чигирь, захлюпала в арычке вода.

Но настоящая слава пришла к Александру, когда, быть может, сам того не желая, завоевал он симпатии женщин. А случилось это так.

Всю дорогу, пока сходили из Чимбая в Мангит, Турумбет отчужденно молчал, сторонился долгого разговора. «Переживает парень, что с Джумагуль, с дочкой не повиделся», — решил про себя аксакал. Но потом явилась другая догадка: возгордился, брезгует нами, шибко грамотный стал! И обиженный этой догадкой, начал донимать

Турумбета вопросами. Тот отвечал неохотно, будто трудовому стоило выдавить из себя несколько слов,

— Учителем, стало быть, будешь?

— Учителем.

— А школа где твоя будет?

— Найдем.

— А кого учить-то будешь — детей, взрослых?

— Ага.

— Чего «ага»?

— Всех, кто захочет.

Туребай обозлился, спросил с подковыркой:

— Писать научился?

— Да вроде.

— Выходит, писать научился, а говорить разучился?

Так, что ли?

На этом их беседа закончилась.

Когда въезжали в аул, Туребай сказал Александру:

— Пока у меня поживешь, а там чего-нибудь подыщем.

И тут точно развязали язык Турумбету — затараторил, закудахтал, как та несушка:

— Брат Александр ко мне пойдет, у меня жить будет. Такой уговор был. Иначе нельзя. Очень прошу... А, брат? — При этом Турумбет хватал Александра за руку, заглядывал в глаза, локтем отстранял аксакала.

— Да вы уж сами, меж собой... — как-то неловко почувствовал себя Александр от таких настойчивых уговоров.

Аксакал не настаивал: может, и правда, у Турумбета приедем будет сподручней, чем у него, Туребая, — как-никак двое младенцев в доме. Аксакал не настаивал, но горячность, с какой Турумбет зазывал к себе Александра, удивила его и озадачила. С чего это он вдруг таким добрым, хлебосольным хозяином стал? В городе научили? Или другая, тайная на то причина имеется?.. Ответа на свой вопрос Туребай не нашел и отпустил Александра в дом к Турумбету с беспокойной, растревоженной душой.

Гульбике, которая с годами обмякла, сторбилась еще больше, не сделалась, однако, добрей. Все так же досаждали людям ее истеричные крики, с тем же ругательным хрустом перемалывал имена соседей ее беззубый, шамкающий рот.

Гостя, приведенного сыном, Гульбике встретила враждебной воркотней, а после того как Турумбет, вызвав ее на улицу, сказал несколько недвусмысленных слов, пазло и сыну и этому русскому парню, она стала ропять, задевать, переставлять с места на место все, что могло звенеть, шуршать, скрипеть или дребезжать. Это продолжалось и ночью, отчего Александр вскакивал и бессмысленно таращил глаза, а Турумбет раздражался отборной бранью. Гульбике извинялась, кляла свои подслеповатые старческие глаза, но стоило мужчинам заснуть, как все повторялось сначала.

Конец необъявленной войне против Александра был положен самым неожиданным образом.

Однажды, вернувшись из кузницы, Мэтэсэ-джигит подошел к Гульбике, с натугой врацавшей рукоять домашней мельницы.

— Упарились, мамаша. Давайте покручу.

Гульбике не откликнулась: во-первых, какое тебе дело, джигит, до моей упарки — а может, мне нравится? Во-вторых, где ж это видано, чтоб мужчина с домашней мельницей возился? Позор! Да такого мужчину и мужчиной не назовешь!

Вероятно, последнее соображение и заставило Гульбике изменить свое решение: пусть крутит, пусть видят все, какой это мужчина! С ехидной усмешкой она отступила в сторону, готовая стать свидетелем позора и бесчестия своего противника.

А Александр, не подозревавший этого ужасного подвоха, спокойно присел к мельнице, взялся за рукоять, начал вращать. Через пять минут лицо его покрылось потом, заняла скрюченная спина.

— Да-к это, мамаша, не мельница — это адская машина!

Не удостоив его ответом, Гульбике ушла в юрту, а Александр, осмотрев со всех сторон «адскую машину», начал ее разбирать.

Когда через час старуха вышла из юрты, мельница была полностью разобрана. Старуха схватилась за голову, издала гортанный воинственный клич и, будто пораженная громом, села на землю:

— Ой-бой!

— Не горюй, мамаша! Перемелется — мука будет, — попытался было Александр шуткой отвести от себя гнев

старухи. Но Гульбике не упималась. На ее истощный крик начали сбегаться соседи. Тогда Мэтэсэ-джигит быстро собрал в мешок части разобранной «адской машины» и бежал в сторону кузницы.

Он появился лишь на следующий день, хотя Турумбет и ходил за ним в кузницу. Появился с тем же мешком на плече. Вытащив и поставив на землю мельницу, которую за ночь он успел переделать, Александр победоносно ирек:

— Вот, мамаша, прошу привести в движение!

Но Гульбике не пошевелилась. Grimаса обиды, презрения и чего-то еще, невыразимо страдательного, свела ее сухое лицо. Пришлось Александру самому пойти за зерном, засыпать его в приемное отверстие мельницы и прокрутить рукоять. Мельница шла легко и бесшумно, тонкая мука струйкой стекала в бадью.

Так и не притронулась Гульбике к переделанной мельнице, пока не ушел Мэтэсэ-джигит. А как только скрылся он из виду, кинулась, ухватилась за рукоять и — крутить. Да-а, это была не мельница, это как руку запустить в шерсть годовалого ягненка — легкая, скользкая, мягкая.

Достоинства новой мельницы оценила первая же соседка, которую звала Гульбике. В полчаса перемолола зерно, и, как положено, — гарницевый сбор. Потом оценила другая и тоже не поскупилась положенную долю Гульбике оставить. Потом третья. Вот этот издавна заведенный порядок как-то и помог Гульбике примириться со своим постояльцем. Кто его знает — может, этот самый Мэтэсэ-джигит и еще чего-нибудь такое придумает? Ему — забава, Гульбике — прок.

Но не одной Гульбике добрую службу сослужила эта ручная мельница.

— Это ж золотые руки нужно иметь, чтоб такую вот вещь смастерить! — говорила одна соседка, перемолов зерно.

— За что б ни взялся — все сделает! Такого мужа днем с огнем не сыщешь! — говорила другая, а третья подшучивала в ответ:

— Так ты б не днем — ночью его искала.

От соседки к соседке передавалась слава о добром джигите. Теперь во всех делах своих и замыслах он твердо мог рассчитывать на поддержку женского населения аула. Так, во всяком случае, говорила ему Багдадуль. Го-

ворили о том и другие. И только одна, чья похвала действительно нужна была Александру, не говорила ничего, не подымала глаз, не замечала его.

Впервые он увидел ее во дворе Турумбета, куда она пришла с горсткой зерна. Стройная, большеглазая, брови будто крылья вразлет. И так получилось, что встретились они взглядами и точно срослись — не оторваться, не отвести глаз в сторону. Сколько лет живет Александр, такого с ним не случалось. Кто она? Как ее имя?

Пояснил Турумбет:

— Нурзада. Калия знаешь? Дочка.

С тех пор не появлялась больше девушка во дворе Турумбета. А на улице, как заметит ее Александр, она голову вниз и пройдет — не посмотрит. Обычай такой? Или видеть его не желает? Тайна..,

## 20

После двухнедельного отсутствия Джумагуль вернулась на работу — дочка пошла на поправку, и теперь ее можно было уже оставить под присмотром соседки. Много пережила, передумала Джумагуль за эти дни, а главное, еще раз почувствовала, как дорог ей этот маленький смешной человечек. Ничего дороже нет у нее в жизни!

Первым, кто явился в кабинет Джумагуль в это утро, был Баймуратов.

— Садись, садись, — дружески потрепал он по плечу Джумагуль, видя ее растерянность. — Ну, как там дочка? Бегает?

— Еще не совсем. Но лучше.

По правде сказать, были у Джумагуль причины растеряться. Не думала, что после того разговора зайдет Баймуратов к ней в кабинет, да и в свой, подозревала, не пустит. Считала, обиделся, недоброе затаил. Выходит, ошиблась.

Разговор этот вышел случайно. В один из тех дней, когда Джумагуль сидела с больной, пришел Баймуратов. Решил навестить. Он участливо расспрашивал о ходе болезни, утешал, давал какие-то наивные советы. Затем, чтоб ее подбодрить, стал рассказывать, как однажды в гражданскую пришлось ему самому выхаживать сына. Постепенно разговор перешел на дела.



— Там, на бюро, молодцом ты себя показала! Толковый проект, конкретные предложения... Двинулось дело. Сводку видала? Каждый день пополнение. Значит, кто был прав, когда ругал тебя за актерство? Баймуратов! — И секретарь удовлетворенно усмехнулся.

— Думала я тогда, после нашего разговора... — сосредоточенно уставившись в одну точку, вполголоса, чтоб не разбудить Тазагуль, произнесла Зарипова. — Что за актерство меня ругали — правильно: не в том моя роль, чтоб самой на сцену идти, — других девушек поднять — это да!.. А вот насчет авторитета... Помните, говорили?

— Отчего же не помнить? Помню. Говорил, что актерство твое подрывает авторитет окружка.

Джумагуль покачала головой, сказала раздумчиво:

— Вот тут, по-моему, вы неправы.

— Думаешь? — холодно возразил Баймуратов. — Если я или, скажем, Гафуров на сцену бы вышел, да фиглярствовать стал, считаешь, прибавилось бы у нас авторитета?

— Зачем фиглярствовать? Речь не о том... В былые времена — понимаю. Визирь какой-нибудь мог, конечно, считать: не приведи аллах, проведает люди, что он и ест как все, и спит не на облаке, и что даже насморк обыкновенный у него, у визиря, бывает — это все, это конец! Ни почтения ему больше не будет, ни авторитета! При ханских порядках не удивительно — иначе и быть не могло. Но сейчас... А может, от ханских времен и перешла к нам эта болячка? Другой может и в чайхане посидеть, и на базар за покупкой сходить, он — нет: выше этого! Другой, если пужно, может и глину месить, он — нет: как бы глиной этой авторитет свой не замарать! Главное, значит, докажи, что ты не такой, как все смертные, исключительный, тогда и будут тебя уважать!

— А по-твоему, наоборот, — в голосе Баймуратова уже звучало раздражение, — каждому и всякому покажи, что ты нормальный человек?!

— Показывать не нужно. Нужно быть! — спокойно парировала Джумагуль.

Баймуратов поднялся:

— Значит, я, по-твоему, должен вместе со всеми махать кетменем?

— Да. Если пужно.

Он рассмеялся громким, натянутым смехом:

— Ох, боюсь, весь свой авторитет размахая...

Баймуратов ушел педовольный, как показалось Джумагуль, рассерженный даже. Да и она досадовала на себя: и чего это ей вдруг взбрело в голову секретаря поучать? Но теперь уже поздно: пока слово не сказано — оно твой узник, сказано — ты его пленник.

Настороженно, с тяжелым предчувствием ждала Джумагуль нового свидания с Баймуратовым. Старалась и не могла представить себе, как он ее встретит: сурово и официально или с шуткой, за которой будут таиться неприязнь и ожидание. Ожидание первого ее промаха.

Предчувствия оказались напрасными: Баймуратов сам пришел к Джумагуль в кабинет, и в улыбке его, в дружеском жесте не было ни начальственной снисходительности, ни фальшивого панибратства, ни подстерегающей напряженности. Так, словно и не было того разговора, он запросто подсел к столу Джумагуль, оперся на него локтями, спросил:

— Чем заниматься будешь?

— Хочу выбрать из списков тех, кто в школу не ходит, с родителями поговорить. С каждым в отдельности.

— Сама со всеми и будешь говорить? Тогда, значит, с годик не трогать тебя — занята будешь? — лукаво улыбнулся Баймуратов.

Джумагуль поняла его намеки, смутилась:

— Не одна, конечно, — Маджитов, жена его, Мукапов из интерната...

— Я вот о чем хотел с тобой поговорить, Джумагуль, — сразу стал серьезным Баймуратов. — Что в школе и в интернате товарищей расшевелила — списки составили, работу с родителями ведете, это хорошо. С детьми у тебя, чувствую, будет порядок. А что насчет женщин? Ты ведь у нас прежде всего женотдел.

Джумагуль ответила не сразу, обдумывала.

— Ну вот, несколько случаев продажи девушек за калым выявили. Пресекали...

— Так. Что еще?

— Одна женщина приходила ко мне — муж избивает. Вызвала его, поговорила.

— Еще! — настаивал Баймуратов.

— А больше, пожалуй, ничего,— вынуждена была признаться Джумагуль.

— Вот об этом мне и хотелось бы как раз вместе с тобой подумать...

Разговор продолжался больше часа. Вечером Джумагуль записала в свою тетрадь:

«Женотдел существует не только для того, чтобы выполнять обязанности негативные (Баймуратов мне объяснил: негативные — это значит отрицательные), не только для того, чтобы не разрешать кому-то продавать девушку за калым, не позволять мужу или отцу превращать женщину в домашнее животное, не допускать, чтобы кто-то унижал и растаптывал человеческое достоинство женщины. У женотдела есть еще функции утвердительные: учить и воспитывать женщин привлекать их к общественной жизни. Этой стороной вопроса я до сих пор занималась плохо, а если честно, не занималась совсем. С чего начинать? Баймуратов считает, что единственный верный путь, кроме учебы, конечно,— коллективный, полезный для общества труд. Для этого необходимо создать производственные артели — швейные, ткацкие, ковровые и какие я еще сумею придумать. На первых порах в этих артелях должны работать только женщины—иначе мужья и отцы их не пустят (учитывать психологию и традиции!). Потом, постепенно, эти артели должны превратиться в смешанные. Нужно: 1) найти 10—12 женщин, которые согласились бы объединиться в артель; 2) добиться в окрисполкоме помещения, пригодного для этой цели; 3) выяснить точно, каким делом могли бы заняться женщины и что для этого дела нужно — швейные машины, ткацкие станки, шерсть, пряжа, ножницы.

А насчет того разговора, про авторитет, ни слова. Значит, согласился!»

## 21

Дуйсенбай не ждал, что Турумбет прибежит к нему в первый же день по приезде — с дороги устал, целый год дома не был, с матерью не видался. Пусть себе потешится джигит.

Он не удивился, не дождавшись Турумбета и на дру-

гой день, — осторожность, осторожность прежде всего! Зачем на глазах у всего аула свою дружбу показывать? И так злые языки одной ниточкой их связали.

На третий день Дуйсенбай узнал стороной, что русский парень, который прибыл в аул какую-то там МТС строить, остановился на жительство у Турумбета. И это уже ему не понравилось. Впрочем, может, здесь имелся еще другой, затаенный смысл? Подождем, торопиться не будем.

Утро четвертого дня принесло тревогу, видно, что-то неладное творится с его верным приспешником. Проклиная тот час, когда сам выпроваживал его в Турткуль на учебу, думал с досадой: хотели быку рога выпрямить, а свернули шею. Вслед за тем скользким ужом юркнуло в груди подозрение: а может, он за мою пикуру уж и барышш получил? Больше ждать было нельзя.

Накинув халат, напялив на босу ногу кавуши, Дуйсенбай кинулся из дому. Однако, чем дольше он шел, тем медленней, тяжелей становился его шаг. Уже совсем вялой, шаркающей походкой он приблизился к юрте Турумбета, но не вошел, а проплелся мимо. Теперь все ему ясно: так вот, значит, зачем пустил Турумбет в свой дом этого русского — чтоб спрятаться за ним как за щитом, за крепостной стеной... От такой догадки на сердце не полегчало. Наоборот. Беспокойные мысли зароились в голове Дуйсенбая. Собака, которая не стащила мяса, прятаться не станет. А если стащила? Если дерекнулся Турумбет на другую сторону, к большевоям пошел в услужение? Ой, плохо тогда Дуйсенбаю придется. Как той собаке.

Дуйсенбай метнулся было к аксакалу. Все расскажет, все подвиги славного пукера, как в дастане, опишет! Сдержался. Нужно обдумать. Утопить Турумбета — дело нехитрое, однако не потянет ли утопленник за собой на дно и самого Дуйсенбая? Что делать?

Дуйсенбай ушел в турангиловую рощу, бродил меж деревьев. Рукой бывалого чабана заворачивал и сгонял в гурт разбежавшееся стадо своих бодливых мыслей. В конце концов это ему удалось, и теперь, одну за другой, он перебирал их, как четки. Первая была совершенно отчетлива: залучить к себе в дом Турумбета и выведать, в какую сторону дует ветер. Может, все его опасения пустые — почудилось с перепугу, и Турумбет по-прежнему будет ходить послушной лошадкой в его,

Дуйсенбая, узде? Если так, то и тревожиться больше нечего. Если ж окажется, что клонит джигита в чужую сторону, тогда одной рукой задрать его — пусть про страшную кару, что изменников ждет, не забывает! — а другой задарить.

Все получалось ладно, толково, мысли выстраивались караваном, и Дуйсенбай понемногу стал успокаиваться. И тут будто на острый шип наступил — аж вздрогнул: ладно, толково... а что если поздно и задирать, и задаривать, если все уже рассказал там этот безмозглый?! Точно дикий кабан, попавший в облаву, рванулся Дуйсенбай сквозь чащобу. Сухие сучья рвали одежду. «Если поздно... если поздно», — звенело у него в ушах.

Задохнувшись от тяжелого бега, Дуйсенбай свалился на пень, обхватил руками голову.

Вольной грудью, глубоко и спокойно дышала турангиловая роща. Далекие от человеческих страхов, от житейской суеты, стояли величественные деревья. Какой-то козосапый жучок, смешно шевеля усами, полз по обломанной ветке.

Тоскливый, жалобный вздох вырвался из груди Дуйсенбая. Подумалось: если поздно, так и рассуждать больше нечего — руки за спину и пошел, куда поведут... Только, наверно, не поздно, не поздно еще, потому что не гулял бы он сейчас в роще и этих деревьев не видел, и неба сквозь зеленые промоины, и этого жучка тоже не видел. Значит, есть еще время, можно еще что-то придумать...

Придумал: нужно задобрить новую власть и тем свою преданность ей доказать. Даже аллах, и тот жертвоприношениям больше, чем самой горячей молитве, верит. Даже он рабам своим за обильное приношение грехи может простить. А люди тем более. Весь вопрос — что, чем пожертвовать?

Дуйсенбай перебирал в уме одно за другим, но так ни на чем и не остановился — того жалко, этого вроде маловато. Решил — время покажет.

Возвращался в аул затемно. По дороге подсчитывал: и этому богу жертвуй, и тому поднеси — так и разориться недолго. У каждого человека один бог должен быть. А кто мой? Сплюнул с досадой: сам себе бог, на себя и молиться буду!..

Весь следующий день Дуйсенбай просидел у своего дома — караулил Түрүмбета, да так и не выследил — то



ли этот ленивый пес па улпцу и глаз не кажет, то ли стороной байский двор обходит. К вечеру, когда женщины идут за водой, Дуйсенбай валкой, неторопливой походкой направился к каналу. Расчет его оправдался: с тяжелой горяшкой на плече навстречу ему шла Гульбике. Остановил, с масляной улыбкой на лице стал расспрашивать:

— Говорят, радость у тебя большая — сын вернулся из города?

— Вернулся, вернулся, бай-ага!

— Чего ж ко мне не придет, старые глаза не потешит? Или ученым стал — загордился, с нами знаться не хочет? А?

Старуха пролетела в ответ что-то невнятное. А Дуйсенбай продолжал:

— Молодежь теперь не то, что мы были, — обычаев не уважает, к старикам почтения никакого. Э-хе-хе... Да ладно, пусть придет — подарок ему к возвращению приготовил...

Турумбет не пришел. Зато Гульбике появилась в тот же вечер:

— Хвораает... Велел низко вам кланяться.

Это была явная ложь, но Дуйсенбай не стал обличать старуху. Делая вид, что поверил ее словам, сочувственно поцокал языком, произнес:

— Какая досада! Ну, ничего, даст бог выздоровеет. Вот передай, — и он указал старухе на лежавший у стены свернутый ковер.

Гульбике не заставила Дуйсенбая повторять свое предложение дважды. Ухватившись за край, она поволокла ковер к двери, взвалила на плечо и под тяжестью его, не удержавшись на ногах, рухнула. Дуйсенбай криво усмехнулся, помог старухе подняться, подал ей на спину ковер.

Турумбет не явился к нему и после этого.

Шло время. Терзаемый подозрениями, Дуйсенбай бродил по аулу, заглядывал в лица прохожим, прислушивался ко всем разговорам. Нет, пока его имя не упоминалось. Говорили о хлопке, о том, что в Чимбае открыли дом, где живые тени по стене ходят, о строительстве какого-то мэтэсэ, ради которого и приехал в аул русский джигит. Об этом говорили чаще всего. Третьего дня, увязавшись за аксакалом, Дуйсенбай вышел на окраину аула. Дехкане, мужчины и женщины, рыли какие-то не очень

глубокие каравы. Сначала Дуйсенбаю подумалось — арыки. Но зачем здесь арыки, если воду на эти земли никаким чигирём не подынешь? К тому же, присмотревшись, заметил, что канава эта ни входа, ни выхода для воды не имеет — замкнутая. Улучив момент, спросил Сеитджана:

— Не пойму, что здесь копаете?

— Мэтэсэ будем строить.

Опять мэтэсэ.

— Что за невидаль такая, скажи на милость?

— Долго объяснять — сам увидишь.

Так ничего и не понял Дуйсенбай, но заподозрил неладное.

Встретиться с Турумбетом довелось ему неожиданно — на сходе, где обсуждался вопрос об организации школы. Дуйсенбай сидел в углу чайханы, поглядывал искоса на Турумбета, старался по лицу распознать, какая у того на душе тайпа. А Турумбет, словно и не видит Дуйсенбая, сидит — не оглянется, головы не повернет в его сторону.

Выступал Туребай.

— Советская власть, — говорил он, — такой фирман огласила, чтоб все, кому восемь лет стукнуло, в школу на обучение шли. А кто сына своего или дочку пустить не захочет, того, значит, всем миром судить будем. Это раз. Теперь хочу вам сказать: школа будет здесь, в ауле, так что ни в город, никуда дите свое отправлять не потребует-ся. Учителя знаете — вот он сидит, Турумбет.

Многие до схода еще знали, что Турумбет возвратился учителем и может теперь азбуке и счету до тысячи обучать. Но и те, кто не знал и кто знал, повернули головы в сторону Турумбета, который сидел на супе, скрестив под собой ноги.

Выждав минуту, Туребай заговорил снова:

— Позвал вас на сход, земляки, чтоб держать с вами совет: где школу размещать будем?

Орынбай, сидевший у входа, крикнул:

— Чего не терял, и разыскивать не трудись — нег такой юрты, чтоб под школу годилась! Стало быть, что? Строить нужно!

— Да мы уж прикидывали — долгое дело, — ответил аксакал.

— А чего торопиться — подождем, — долетело откуда-то сбоку. Туребай посмотрел в сторону голоса, сказал твердо:

— На той неделе учебу начнем. Хоть на улице.

Кто-то советовал на время приспособить под школу амбар, что принадлежал прежнему аксакалу, кто-то чайхану, где сейчас заседали. И то и другое было отвергнуто: амбар того и гляди обрушится, чайхапа—единственное место, где встречалось и обсуждало все новости и насущные дела мужское население аула. К концу вечера, когда разговор зашел в тупик и казалось, решения не найти, неожиданно заговорил Дуйсенбай:

— Не стану скрывать, земляки: обошел меня аллах, не дал счастья услышать в собственном доме голос ребенка. А знаете сами: дом с детьми — базар, без детей — мазар. Вот и решил я сейчас: может, хоть на старости лет... Свои не свои — не в том дело... Одним словом, чего вам скажу? Дом мой знаете? Две комнаты отделяю! Для школы. Чтоб все как в красном фирмане записано...

Люди притихли, не зная, как отнестись к такому великодушию бая, а он, смахнув набежавшую было слезу, тяжело вздохнул, сел на место, сложенными в лодочку ладонями молитвенно отер лицо.

Против предложения Дуйсенбая возражал только один человек — Турумбет. Он говорил что-то насчет неудобств, насчет того, что байские кобели могут сорваться с цепи, искушать всех детей. Но его не стали слушать, лучшего помещения не было, а собаки... что ж, может, в них как раз и спасение — куснут одного, есть причина своих сорванцов не пускать больше в школу.

Дуйсенбай был доволен: одной пулей в две цели попал. Пусть скажут теперь, что он против новой власти идет! А Турумбет... Хочешь не хочешь, милый, каждый день теперь будешь в мой дом ходить, глаз с тебя не спущу!

В четверг, как и было договорено на сходе, к Дуйсенбаю пришли Турумбет, Орынбай, Сеитджан, Калий и еще несколько человек из тех, кто умел малярничать или плотничать. В сопровождении радушного хозяина осмотрели дом, договорились между собой, как отгородить две комнаты, где будет располагаться школа, от остальных помещений, и, закатав рукава, принялись за работу.

Весь день Дуйсенбай неотступно следовал за Турумбетом — куда тот, туда и другой. На закате, когда строители собирались расходиться, шеннул:

— Останься, есть разговор.

Турумбет притворился, будто не расслышал этого шепота, но Дуйсенбай властно взял его за руку, и пока строители расходились, задавал ему все новые и новые вопросы — и какой грамоте будет он обучать детей, и сколько букв в арабском алфавите, и правда ли, будто объявился мудрец, который может в каждой юрте по маленькому солнцу зажечь так, что ночью в них будет светло, как в полдень на улице? Турумбет отвечал, с тоской в глазах наблюдая, как уходит последний строитель. А когда в комнате, кроме них, никого не осталось, Дуйсенбай рассыпался мелким смешком, ткнул Турумбета пальцем в грудь:

— Экий ты, браток, несообразительный стал! Я тут такой бешбармак приготовил! Сам понимаешь — всех за стол не посадишь, не напасешься на столько ртов. Намекаю тебе, за полу дергаю, а ты как анаши накурился — не видишь, не слышишь. Пойдем, пойдем в комнату, — и он потянул Турумбета за собой.

Дастархан был накрыт действительно ханский: фрукты и сладости, орехи и персидский инжир. Посреди всех этих лакомств красовалась бутылка с темной жидкостью, оклеенная яркой блестящей бумагой.

Усадив Турумбета на самое почетное место, обложив подушками, как обкладывают младенца, чтоб тот не свалился, подоткнув под ноги атласное одеяло, Дуйсенбай привялся потчевать гостя:

— Кушай, пожалуйста... Вот это попробуй... Да ты не стесняйся, душа моя, ешь...

Он подкладывал и подливал Турумбету искристую жгучую жидкость и, как подобает хозяину, не досаждал гостю вопросами. Лишь после того как было съедено мясо и изглоданы мозговые кости — лучшую, конечно, хозяин поднес Турумбету, — после того как бутылка была допита до дна, Дуйсенбай очень вежливо поинтересовался:

— Надеюсь, мой скромный подарок пришелся тебе по вкусу?

— Подарок? — удивился гость. — Это какой же?

С той же приятной улыбкой хозяин напомнил:

— Ковер... Такой чистой шерсти, ворсистый такой...

— Не знаю... не видел...

Дуйсенбай про себя крепко выругался: проклятая старуха, вон что придумала! Но вслух произнес мягко, душевно:

— Мамаша твоя.. разве не отдала?.. Забыла, наверно. Ну, пустяк, не стоит об этом. Я тебе тут подарок получше приготовил.

Турумбет посмотрел на хозяина вопросительно, в осоловелых глазах его мелькнула какая-то мысль.

— А за что мне подарок?.. Я теперь.. Ты меня знаешь?..— проговорил он заплетающимся языком.

Дуйсенбай оцерился редкими, гнилыми зубами, мохнатые брови его сошлись к переносице, хотел сказать что-то резкое, но вместо того чуть не прошел:

— Что обещал тебе, то и получишь, браток. Все получишь! Помнишь, говорили с тобой: в жизни мужчины семь периодов бывает. Один у тебя уже миновал — слава аллаху, с этой беснующей разделался! Теперь другой начинается.. Невесту я тебе подыскал..

— Кто такая?— грубо спросил Турумбет.

— Дочку Мамбет-муллы знаешь? Она..

Гость заерзал, раскидал по полу подушки, размахивая руками, закричал пьяным голосом:

— Себе возьми эту ослицу! Будешь ездить на ней! А мне.. захочу.. не нужны мне твои подарки! Я теперь сам по себе, вольная птица — куда захотел, туда и.. вот. Ни вашим, ни нашим!..

Так вот оно что: вольной птицей быть захотелось?! Ну, итенец, погоди — что заночишь, когда в клетке окажешься?!

Гнев подступил Дуйсенбаю к горлу. Сглотнул, сказал тихо, зловеще:

— Ночью по тугаям охотники ходят. Как бы не подстрелили вольную птицу..

— Что?— то ли не расслышал как следует, то ли не понял Турумбет.

— Ночью, говорю, по тугаям охотники ходят. Будь осторожен!— тем же тоном повторил Дуйсенбай.

Турумбет догадался — предупреждает, запугивает. И словно ветром выдуло хмель из его головы. Оперся руками о столик, хотел встать. Столик наклонился, все, что там было — кости, тарелки, подносы со сладостями, кисайки и чайник, — все это с грохотом полетело на пол. Дуйсенбай не шелохнулся, слова не проронил. Парализующим взглядом змеи он наблюдает за тем, как, ползая по полу, Турумбет собирает на столик объедки, фрукты, посуду, как затем он подымается на ноги и шаткой поход-



кой идет к двери. Там, у порога, он на минуту задерживается — видно, хочет что-то сказать. Но не говорит, только в ожесточении машет рукой и выходит. Дуйсенбай молча глядит ему вслед.

## 22

С того памятного вечера, после спектакля, Джумагуль избегала встреч с Ембергеновым. Оракбай наоборот — пользовался каждым удобным случаем, чтоб увидеться с ней, побеседовать. Часто он заходил в кабинет к Джумагуль просто так — посидеть, обсудить большие и малые новости.

В одной из таких дружеских бесед Джумагуль, усмехнувшись, сказала:

— Что-то очень подозрительным стали вы в последнее время — и к этому присмотреться нужно, и тот доверия не внушает. Может, и ко мне заходите для того, чтобы незаметно так выяснить, чем дышу?

Оракбай рассмеялся.

— Вы?.. — потом посерьезнел, в раздумчивости произнес: — Когда вокруг так много действительных врагов, невольно подозрительным станешь.

— А подозрительность рождает призраки, призраки рождают подозрительность. Заколдованный круг!

— Не смейтесь. Слыхали бы, что этот Курбанниязов на допросе говорил... Так до конца и не сознался, собака, праведником прикидывался. А когда спросили, зачем он такую железную линию гнул, ответил: не перегибешь — не выпрямишь.

— Страшные слова, Оракбай!

— Страшные...

Несколько минут помолчали, потом, пристально поглядев на Джумагуль, Ембергенов признался:

— А к вам я не для того захожу... Не для того... Может, обидело вас, что не сам, а по-старинке — Фатиму просил передать... Как-то неловко.

— Не будем об этом! — решительно пресекла Джумагуль признание Ембергенова,

— Сейчас?.. Или вообще?

— Сейчас не будем... Простите — ждут меня, — заторопилась Джумагуль.

Вот так всегда получалось — только начинал Оракбай этот разговор, как у нее появлялись неотложные дела, ее где-то ждали, кто-то вызывал.

На этот раз Джумагуль действительно торопилась — ей нужно было идти в дом Альджана-водовоза.

Каждое утро, чуть забрезжит рассвет, под окнами Джумагуль раздается протяжный, распевный крик: «Вода... Чистая, холодная вода...» Это Альджан-водовоз объезжает город на своей самодельной арбе с деревянной бочкой. Джумагуль знакома с ним уже несколько месяцев. Водовозу лет сорок пять, может быть, пятьдесят, но простодушие он сохранил чисто детское. Это написано на его лице с удивленно приподнятыми бровями, сквозит во всех его вопросах и рассуждениях.

— Альджан-ага, почему ваша дочка не ходит в школу? — спрашивала Джумагуль после того как познакомилась с двенадцатилетней Айджан, нередко сопровождавшей отца в утренних разъездах.

— А бог не велел девочке грамоту знать — плохой женой будет, — отвечал водовоз с полной верой в непреложную истинность этой «мудрости».

— Откуда вы знаете, что бог велел, а чего не велел? — допытывается Джумагуль.

— Как откуда? — искренне удивляется водовоз. — Аллах пророку сказал, пророк — мулле, а мулла — нам, простым смертным. Все от бога.

— Все? А Советская власть? — задает каверзный вопрос Джумагуль и ждет, что водовоз станет сейчас хитрить, увиливать от прямого ответа. Напрасно: с той же прямоотой и паивностью водовоз отвечает:

— Конечно, от бога! А как же? Это всевышний к нашим молитвам прислушался и простому люду послал избавление.

— А может, не от бога, а как раз против его воли?

Такое предположение кажется Альджану просто смешным, и он не устаивает Джумагуль ответом. А та продолжает допытывать водовоза все новыми и новыми вопросами:

— Как же так получается, Альджан-ага: бог не велит дочке грамоту знать, а Советская власть, которая тоже от

бога, фирмам оглашает — всем девочкам в школу идти! Как же так?

— Ты меня словами не путай! Как сказал, так и есть! — отходит от Джумагуль водовоз и взбирается на арбу. Брови его подняты еще выше обычного, в глазах удивление — видно, слова женщины посеяли в его душе сомнения.

Эти разговоры продолжаются и на следующее утро, и через неделю. Айджан — дочь водовоза — чувствует себя у Джумагуль как дома — ест, играет с Тазагуль, очень живо изображает в лицах знакомых.

Как-то, просматривая списки, составленные интерна-товцами, Джумагуль останавливается на имени Альджана — улица, номер дома, даже цвет калитки указан. Честно потрудились ребята, на совесть! Джумагуль закрывает тетрадь, само собой приходит решение — нужно пойти. Вечером, после работы, она идет разыскивать дом водовоза.

Калитку открывает Айджан. Вскрикнув от радости, девочка бросается к матери и ведет ее за руку к Джумагуль.

— Это тетя, про которую я тебе говорила. Помнишь? У нее дочка есть — Тазагуль.

Жена водовоза — Ульджан — лет на десять моложе мужа, женщина тихая, скромная, медлительная. У нее мечтательные, почти неподвижные глаза, округлые жесты, походка плавная, неторопливая. Она встречает Джумагуль доброй улыбкой, ведет в комнату — чисто прибранную, полутемную комнату, вдоль стен которой тянутся неглубокие ниши с одеялами, посудой, домашней утварью. Но главное, чем примечательна комната и что сразу же обращает на себя внимание, — старый, с облупленной краской «Зингер». Швейная машина стоит на низком столике посреди комнаты, и, чтобы угостить гостью чаем, хозяйке приходится перетаскивать машину на другое место.

Поначалу беседа не вяжется: Джумагуль никак не решается приступить к делу, ради которого пришла, хозяйка, верная восточному этикету, сама таких вопросов задавать, конечно, не станет. На помощь приходит Айджан.

— Мама! А эта тетя говорит, чтоб я шла в школу, чтоб буквы и цифры учила! Говорит, буквы и цифры — это такой ключик. Повернул его и — раз! — двери в другую жизнь открыты. А там...

— Не болтай! Дай взрослым спокойно побеседовать, —

обрывает ее мать. — В другую жизнь захотела! Ты эту проживи..

— Да, прожить ее — дело нелегкое, — ухватывается за эту нить Джумагуль и начинает осторожно разматывать клубок беседы.

Эта беседа, с перерывами, тянется вот уже больше месяца. На первых порах Ульджан и слышать про школу не хочет. Немалого труда стоило Джумагуль доказать ей, что знания вовсе не помеха семейной жизни, и женщина, владеющая грамотой, вполне может быть хорошей женой. К каким только доводам не прибегала Джумагуль для доказательства этой истины, и только один всегда оставался против нее — пример ее собственной жизни. Так, во всяком случае, считала жена водовоза. Из свойственной ей деликатности, какого-то врожденного такта, Ульджан ни разу не обмолвилась об этом вслух. Но Джумагуль понимала: все доказательства, все слова ее, будто волны о береговые утесы, дробятся об этот невысказанный, затаенный упрек. Она рассказала. Все. Без утайки, без желания разжалобить или оправдаться. И этот рассказ, такой понятный, стократно на глазах Ульджан разыгранный жизнью с ее подругами, соседками, сестрами, как-то сблизил двух женщин, заставил жену водовоза по-новому, с открытой доверчивостью вслушаться в слова Джумагуль.

В тот вечер, оставшись одна, Ульджан не так энергично крутила ручку своего старого «Зингера». Нет, она понимала, что если сегодня не дошьет детскую рубашку, не вынесет ее на базар, то, может быть, завтра в доме не будет обеда. И все же что-то мешало ей сосредоточиться на работе. Временами стук мантины смолкал вовсе. В мечтательных глазах Ульджан зажигался какой-то далекий, будто из глубины пробившийся, свет. Думала ли она о прожитой жизни? Старалась ли прозреть судьбу своей единственной дочери?..

А Джумагуль в этот вечер не хочет оставаться один на один с роем растревоженных воспоминаний. Принарядив Тазагуль, она берет ее за руку и через дорогу идет в дом Нурутдина Маджитова.

В знакомой, плотно заставленной комнате, кроме хозяев, находится еще и Коразбеков — мужчина тучный, подвижный и на редкость шумный. Завидев Джумагуль, он набрасывается на нее с вопросами:

— Что это вы, дорогая, с женой моей сделали? Сначала, как услышит ваше имя, — хоть уши затыкай, ругается. Сейчас при имени Джумагуль чуть не молится. Катавасия!

Это правда. Что-то переменялось, сдвинулось в жене Коразбекова после той ночи, проведенной вместе с Джумагуль у постели больного ребенка. Она, которая пуще всех, со скандалом и истерикой, упиралась против того, чтобы отправить девочку в школу, теперь сама агитатором за обучение стала. И агитатором рьяным: высмотрит себе «жертву», вцепится и, пока своего не добьется, не отстанет. Несколько дней подряд вместе с Джумагуль ходила по кабинетам окрисполкома, доказывала, что для женской артели — которой, правда, пока еще нет, но которая скоро обязательно будет! — для женской артели нужно самое лучшее помещение выделить — светлое, теплое, в центре. Доказала. Да, что-то сдвинулось, переменялось в Кызларгуль. Но как об этом сказать Коразбекову, когда и себе объяснить не можешь? Так и отвечает Джумагуль главному безбожнику всей автономной области:

— Что у жены на душе, только мужу известно, а если и ему неизвестно — душу из нее воз!

Коразбеков громко хохочет, одобрительно подмигивает Джумагуль.

Некоторое время внимание всех собравшихся поглощено Тазагуль. Шустрая, смышленная девчужка демонстрирует свои познания в буквах и цифрах, с детской непосредственностью декламирует стихи Бердаха. Но чем больший интерес проявляют взрослые к ребенку, тем более он считает обязанным удовлетворить этот интерес чем-то из ряда вопиющим — впрочем, это относится не только к ребенку, сосредоточившему на себе внимание окружающих. Тазагуль начинает вытворять нечто невозможное — показывает искусство жонглирования кавушами, тянет за хвост мирно дремавшего на диване кота. Все это кончается для нее плачевно, в прямом и переносном смысле, — ревущую Тазагуль отправляют спать.

Пока Фатима наводит в комнате прежний порядок, Джумагуль рассказывает о семье водовоза, о том, каких трудов стоит ей убедить родителей отправить девочку в школу.



— Понять не могу, отчего нужно людей — к их же счастью! — тянуть на аркане? — обводит она недоуменным взглядом собравшихся. — Отчего упираются, когда указана прекрасная цель?

— Многие не понимают еще, — спокойно объясняет Маджитов. — Нужно объяснять, растолковывать, убеждать.

Но экспансивного Коразбекова такой ответ не устраивает.

— Объяснять, растолковывать убеждать! — кричит он, широко размахивая руками. — Сам говоришь: многие не понимают. Значит, наше право — тех, кто понимает, — тянуть, заставлять, а если сопротивляются, — как это говорится? — прибегать к насилию! Это даже моя обязанность перед ними, долг! А что делать, если они своих же интересов уразуметь не могут?!

После горячей речи Коразбекова голос Нурутдина кажется совсем тихим.

— Вот отсюда как раз — от сознания, что ты и только ты владеешь истиной спасения рода людского, — и жестокость.

Наступившее было молчание нарушила Джумагуль:

— Насильно, под конвоем вести к свободе? Не знаю, по-моему, это чепуха, по-моему, это просто невозможно... Нет, нужно, чтобы люди добровольно, сознательно шли к цели.

— Опять за свое! — с досадой ударил кулаком по ладони Коразбеков. — Ну, а если — сами сейчас говорили — многие не созрели еще для понимания этой цели? Как тогда?

— Объяснять, растолковывать, убеждать! — повторил Маджитов тем же ровным, спокойным тоном.

— А в бою, когда нету времени каждому разъяснять? Катавасия! А у нас ведь тоже сейчас, по сути, большой бой.

— Верно — большой бой. Но выиграем мы этот бой, если люди будут вести его не по принуждению, а по убеждению!

...И снова после рабочего дня Джумагуль отправляется в дом водовоза. Сегодня Ульджан встречает ее более приветливо, чем обычно, — может быть, оттого, что видит теперь не только лицо своей гостьи, но и знает душу ее. И

снова разговоры о школе, о женском предназначении, о боге и человеческой совести. Наконец, Джумагуль удается уговорить жену водовоза пойти и собственными глазами осмотреть это страшное чудовище—школу. Ульджан соглашается лишь при одном непреклонном условии: мужу — ни слова.

И вот Ульджан в школе. С видом преступницы, рискующей жизнью, она пробирается в класс, где идет в это время урок арифметики, притаившись на задней скамейке, разглядывает черную доску с непонятными, загадочными значками, слушает объяснения Фатимы, во все глаза следит за шаловливыми, непоседливыми учениками. Провожая Ульджан обратно домой, Джумагуль никак не удается определить, какое впечатление произвела на жену водовоза школа, к какому решению она пришла. Ульджан молчит, не отвечает на вопросы, в глазах ее страшный блеск. И только у калитки она хватается Джумагуль за руку, шепчет заговорщически:

— А он как? Не согласится ведь. Ни за что!

Джумагуль облегченно вздыхает:

— Уговорим!

Первый открытый штурм, предпринятый женщинами, закончился неудачно: большой медный дуп, который с вечера Джумагуль оставляет на улице, утром оказался непременным, хотя на рассвете она явственно слышала протяжный крик водовоза: «Вода... Чистая, холодная вода!..» Ульджан получает нахлобучку в откровенной форме. Обменявшись впечатлениями, женщины меняют тактику и переходят к долговременной осаде. Джумагуль теперь уже сама поджидает по утрам водовоза и затевает длинные богословские споры. Ульджан использует средства чисто женские: сказавшись больной, не готовит обеда и спать ложится вместе с дочкой, ходит насупленная, постоянно ворчит, на самые миролюбивые вопросы отвечает дерзостью. Поначалу все это вызывает в Ульджане реакцию, прямо противоположную той, на которую рассчитывали женщины,— он становится раздражительным, несговорчивым, упрямым. И кто знает, в чью пользу закончилась бы эта схватка, если б не одно происшествие, никакого отношения к ней не имеющее.

Утром, в положенный час, Джумагуль стояла в воротах, дожидаясь появления водовоза. Но водовоз не приехал. Его распевного голоса не слышно было и на следую-

щий день. Не найдя объяснения этому, встревоженная недобрыми предчувствиями,— не случилось ли что в семье?— Джумагуль отправилась в дом водовоза.

Предчувствия не обманули ее — случилось: колодец, из которого Альджан вот уже скоро пять лет черпал воду, который поил несколько городских кварталов и кормил самого водовоза,— колодец иссяк. Встав на заре, Альджан забросил ведро и услышал, как оно брякнулось о сухое дно. Он сел у колодца и прождал целые сутки, но вода не появлялась. Больше ждать было нечего. Нужно продавать кобылу, рубить на дрова бочку и искать себе новый промысел. Правда, оставался еще один выход — рыть новый колодец, но где его рыть, чтоб выйти к воде, и где возьмешь силы, чтоб в одиночку с таким делом справиться? О найме рабочих и помышлять было нечего— всем, что в доме имеется, не расплатишься. Разве что старый «Зингер» на базар отнести? Можно, конечно. Только, если уж аллах решил испытать Альджана, не получится ль так, что и вода в его новом колодце не заплещется, хоть на целую версту в землю заройся, и «Зингер» от него уплывет. Что тогда?

В этих невеселых размышлениях застала Джумагуль водовоза. Большая беда обесценивает значение маленьких горестей, мелких обид, и, здороваясь с гостьей, Альджан даже не вспомнил, что дал себе клятву больше никогда не пускать ее на порог своего дома,— за то, что она искусительница, за то, что своими нашенствованиями жене вносит разлад в их семейную жизнь. Джумагуль выслушала рассказ водовоза, посочувствовала, дабы утешить, сказала, что предаваться печали не стоит,— может, вернется еще вода в старый колодец, и ушла. А на другой день появилась снова и уже не одна, а с каким-то молодым человеком в синей шинели с серебристыми нашивками на воротнике. Скинув шинель, молодой человек по веревке спустился в колодец, осветил там фонариком, постучал молоточком. Поднявшись, сказал:

— Ушла по другому руслу. Но ничего — от нас далеко не убежит. Разыщем беглянку.

Целый день с самым загадочным видом он ходил вокруг двора — то подальше уйдет, то вернется, то копнет, то ухом к земле приложится. Альджан следовал за ним неотступно. И когда молодой человек ложился на землю, он тоже ложился, а когда, задумавшись, тот начинал

насвистывать, водовоз тихонько ему подпевал. Так, наконец, нужно — великое колдовство со стороны всегда чудачеством кажется. Наконец, с силой воткнув в землю лопату, водознавец сказал Альджану уверенно:

— Здесь копай! Здесь вода!

Альджан склонился в низком поклоне, дрожащими пальцами взялся за полу синей шипели.

— Да ты что, дорогой?! — отстранился молодой человек.

— Как благодарить вас, не знаю...

— Ты не меня — Джумагуль благодари! так за тебя просила — отказать невозможно... Только легкой воды не жди — глубоко — саженей десять копать придется.

Это было спасением. Но это было и новой тревогой. Десять саженей! Целый десяток... Это, если считать, по саженю в день... Нет, сажень за сутки ему не вырыть... Как ни прикидывай, а две недели уйдет. Хорошо еще, если камня на пути не встретит, а то и весь месяц провозится... Что ж, месяц так месяц — главное, чтоб водичка была... А если не будет? Если ошибся волшебник?

Всю ночь ворочался, стонал водовоз, а на рассвете, взяв кетмень, вышел на улицу.

Почва оказалась твердой. За первые два часа, весь унапившись, Альджан вырыл ямку — воробью по колено. Утешал себя — дальше грунт помягче, быстрее дело пойдет. Но и дальше грунт оставался таким же каменно-твердым, неподатливым.

Занятый делом, Альджан не сразу обратил внимание на детский гомон, да и на что ему знать, какую они нашли себе забаву! Но гомон приближался, становился все громче, и водовоз поднял голову. Прямо на него с лопатами и кетменями двигалась стайка подростков — мальчишки лет четырнадцати-шестнадцати. Альджан так и застыл с недоумевающим вопросом на лице.

— Отец, нам водовоз нужен. Не вы? — спросил самый старший. Другой уточнил:

— Альджан-водовоз.

— Я, — растерянно, еще ничего не понимая, ответил Альджан.

— Интерналовцы мы. А эти вот трое из школы. Нам поручение — помочь вам колодец выкопать. Вот.

Они являлись каждый день после занятий — веселые, шустрые, озорные, — и каждый час разгорался один и тот

же спор: кому быть внизу? Вечером, перед уходом домой, они производили замер — пройдено еще полторы сажени!

А ночью, когда никто не видел, Альджан спускался в колодец, шарил руками по дну, пробовал на язык свежую землю — не появится ли вода? С каждым днем, с каждой вырытой саженью росло волнение водовоза. Оно достигло предела через неделю, когда, сделав замер, мальчишки радостно доложили ему: «десять!» Воды не было... Она не появилась ни на восьмой, ни на девятый день...

Подростки устали, у многих вздулись на руках волдыри, и когда в конце одиннадцатого дня замер показал двенадцать саженей, Альджан, едва шевеля губами, произнес:

— Спасибо, ребята. Очень мне помогли. Спасибо большое... А завтра приходите не нужно...

Но они пришли...

Вода появилась на тринадцатый день.

Обезумев от радости, Альджан обнимал всех мальчишек подряд, тряс им руки, повторял беспрерывно: «Вода!.. Вода!» С жадностью странника, набредшего на оазис в пустыне, он глотал, кусал, втягивал в себя воду, захлебывался водой, погружал в нее руки, а когда немного остыл, успокоился, сказал твердо:

— Если б не вы... спасли вы меня, дорогие. Чего ни потребуете — все для вас сделаю. Говорите!

И старший парень, тот, что трудился больше всех, потребовал от Альджана:

— Пусть ваша дочь пойдет в школу. Как мы...

Научила ли их этому Джумагуль, додумались ли сами, за две недели сдружившись с Альджаном, — какая, собственно, для водовоза разница? Минуту подумав, он отвечает:

— Если станет такой же, как вы... если так — пусть идет...

В первый раз девочку повела в школу Джумагуль. Они шли по улицам, крепко держась за руки, а сзади, желая остаться незамеченной, кралась за ними Ульджан.

До тех пор пока девочка была в школе, Ульджан стояла у школьных ворот. Впрочем, через неделю ее влекло сюда уже не только беспокойство за дочку — каждый день у школьных ворот собиралось множество жепщиц, таких же трясущихся над своими кровинками матерей, как она. Женщины живо обсуждали все школьные новости, порой



единодушно клеймили родителей, которые держат своих детей взаперти, но чаще — не в пример своим чадам — до хрипоты, до взаимных оскорблений, спорили из-за оценок, поставленных накануне учителем.

Джумагуль не раз обращала внимание на толпу у школьных ворот, но мысль о том, чтобы как-то организовать, направить энергию этих женщин, подсказала ей Кызларгуль:

— Ищешь, кого бы собрать в артель. Так вот она, готовая стоит. Только бери!

На следующий день, выйдя из школы, Джумагуль подошла к жене водовоза:

— Ульджан! Ты не занята? Пойдем ко мне — есть один разговор.

Пока они шли в окружном, Джумагуль объяснила:

— Понимаешь, хотим организовать мастерскую, в которой работать будут только женщины. Помещение есть. Швейную машину дадут. Если б ты согласилась обучить их этому делу, нашлось бы много желающих. Не откажешься? Очень прошу.

— А зачем это нужно?

Каждый раз приходится начинать все сначала, с азов, с того, что самой ей сейчас уже представляется не требующей никаких доказательств, как дважды два, очевидной истиной. И она терпеливо, со всеми подробностями растолковывает жене водовоза, что такое артель и для чего ее нужно создать, и как это важно вырвать женщину из тесного, узкого мира домашних забот, вовлечь в большую народную жизнь. Ульджан не все понимает. Какие-то вещи Джумагуль приходится объяснять и дважды, и трижды, но в конце концов жена водовоза согласно кивает:

— Поняла.

— Значит, согласна?

— Нужно подумать... У мужа спросить...

— Хорошо. Посоветуйся с мужем и завтра приходи ко мне снова. Обещаешь?

— Если муж разрешит...

Она позавтракает, садится на краешек стула.

— Ну! — не терпится Джумагуль поскорее узнать, с чем пришла жена водовоза. — Как решили?

Ульджан качает головой:

— Нет.

— Муж запретил?

И снова отрицательное движение головой:

— Нет. Сама... Сама не хочу.

— Отчего?

Ульджан долго мнетя, не хочет открывать действительных причин своего отказа, но в конце концов, уступая настойчивым просьбам Джумагуль, сознается:

— Зачем мне для себя самой яму копать? Сейчас кто в городе шьет? Я да еще пять-шесть женщин. Так? А если я научу шить и ту, и другую, и третью, да вы им еще и машинки купите, кто тогда будет покупать у меня на базаре мою вещь? Никто. Значит, продавай машину и ищи себе новое дело. Какая ж мне выгода?

Джумагуль рассмеялась: боже, до чего наивная женщина! Она убеждает Ульджан, что готовую продукцию будет закупать у них государство, что даже целая артель, состоящая из пяти—десяти работниц, не удовлетворит потребности города в швейных изделиях... Все напрасно: Ульджан стоит на своем. Она внимательно выслушивает доводы Джумагуль, сочувственно кивает, временами даже поддакивает, но как только вопрос ставится напрямик — согласна ли она обучать женщин своему ремеслу? — отвечает упрямым отказом. Исчерпав, казалось бы, все аргументы, потеряв надежду переубедить жену водовоза, Джумагуль вдруг находитя:

— Ладно, не хочешь — не надо... Только интересно, сколько же ты зарабатываешь на своем ремесле, что так за него держишься? Если не секрет, конечно.

Ульджан называет сумму, очень скромную даже для бедняка.

— И так каждый месяц? — допытывается Джумагуль.

— Как когда. Иной месяц бывает получше, другой немного похуже, а в общем...

— Ну, а если за обучение женщин шитью мы будем платить тебе в два раза больше? Каждый месяц...

Ульджан надолго задумывается. Видно, решение таких сложных задач дается ей нелегко. Она опускает глаза, теревит бахрому шерстяного платка, шепчет что-то неслышное.

— Да ты подумай сама... — хочет подсказать ей нужный ответ Джумагуль, но Ульджан перебивает:

— Пусть кто другой. Мне не годится.

— Да почему не годится? Ты только подумай...

— Подумала — не годится, — категорично заявляет Ульджан. — Это, выходит, пока буду учить — платите. Хорошо. А как выучу? Кто тогда платить будет?

— Других будешь учить.

— И других выучила. Всех, кто хотел. Дальше что делать буду? — Джумагуль уже выбилась из сил. Что ей — плакать или смеяться?

Но она продолжает спокойно убеждать жену водовоза:

— К тому времени, когда выучишь всех, дети уже подрастут. Опять обучать нужно.

Ульджан снова опускает глаза, тербит бахрому, снова губы ее шепчут что-то неслышное. Наконец:

— Нужно подумать...

— Завтра придешь?

— Надумаю, так приду.

На другой день согласие было дано — учитель имелся. Теперь предстояло найти и уговорить учеников.

## 23

Прошло несколько месяцев как Александр живет в одной юрте с Турумбетом, — едят вместе, спят рядом, — а понять этого человека не может. Когда познакомились прошлой зимой в Турткуле, показалось Александру — темный джигит, но в общем человек неплохой — компанейский, веселый. Странные перемены начались по дороге. Чем дальше оставался Турткуль, чем ближе подъезжали они к Мангиту, тем заметней портилось у Турумбета настроение. Уже в Чимбае он выглядел угрюмым, насупленным. А затем и вовсе нельзя было вытянуть из него слово — молчал, хмурил брови, смотрел на людей затравленным зверем.

Позже, в ауле, Александр узнал о семейной истории Турумбета. Этим многое объяснялось в его поведении. Многое, но не все. Отчего, скажем, так рьяно противился он открытию школы в дуйсенбаевском доме? Дуйсенбая не терпит, избегает с ним встречаться? Но отчего? Ведь все говорят, до поездки в Турткуль очень даже дружили они, Дуйсенбай в открытую опекал Турумбета, Турумбет прислуживал Дуйсенбаю. А может, именно здесь, в их прежних отношениях причина всех перемен, произошедших с

джигитом за время, пока добирался он из Турткуля в Мангит? Может быть.

Турумбет и сейчас, насколько понимает его Александр, живет какой-то неровной, беспокойной жизнью. То улыбается, шутит, вместе со всеми идет лезть кирпичи для будущей мастерской МТС, то впадает в уныние, в себе замыкается, лица человеческого видеть не хочет.

Несколько раз Александр пытался вызвать Турумбета на откровенность. Все расскажет джигит — и какой отец у него был, и как мальчишкой с караваном до самой Бухары добирался, и как в Турткуле его грамоте обучали — все, но как дойдет разговор до бывшей жены или до Дуйсенбая — черта, дальше ни с места.

Что ж, не хочет перед Александром душу открывать — его дело. У Александра и своих забот по горло. На прошлой неделе аксакал в город ездил, предупредили — днями пришлют плуги, бороны, конные сеялки, глядите, чтоб все в сохранности было. А как их в сохранности убережешь, когда мастерская, которую поставили, без крыши — простоволосой красуется? Хорошо еще, люди в Александра поверили, МТС за свое, кровное принимают. Особенно эти — Орынбай, Сеитджан, Салий, Бибаим. И Калий, конечно.

К Калию у Александра отношение особое. Добрый работник, проворный, с любым делом справится, а мужичонка — попадется такой в артели, артель не то что баржу — крейсер на лямках потянет. Не оттого, что сила в этом Калии богатырская. Кой там! Щуплый, тщедушный. Дунешь — в небо подымет. А секрет его в том, что умеет людей раззадорить, веселье в душу вселить. Ради шутки, ради острого слова ни лучшего друга, ни себя самого не пощадит. Но и ему от людей достается — ни один не пройдет мимо Калия, чтоб не испытать на нем остроты своего языка. Все изощряются. Все, кроме Мэтэс-джигита. Оно и понятно: как посмотрит Александр на Калия, так перед глазами дочка его, Нурзада, встает. Тут ему не до шуток.

Сколько ни пытался Александр где-нибудь встретиться, поговорить с Нурзадой — ничего не выходит. Хоть стань перед ней, во всю ширину растопырь руки — все равно пройдет, не заметит. Решил: вырву из сердца, забуду, чужак чужаком и останется.

Две недели не искал Александр встреч с Нурзадой,

погой не ступал в большой дом, где жил Калий. А третьего дня, когда затемно из мастерской возвращался, столкнулся с девушкой на узкой тропинке. Он так и не понял, откуда она появилась,— шла навстречу или выскочила из-за кустарника? Он видел только ее большие испуганные глаза и руки, прижатые к подбородку, и выбившуюся из-под косынки черную прядь. Волнение перехватило Александру горло. Мешая русские, каракалпакские, узбекские слова, он что-то торопливо говорил. Нурзада спустила голову, обошла Александра, сделала несколько торопливых шагов по тропинке, остановилась:

— Завтра... Когда выйдет луна... На канале...

...Самое трудное было — объяснить Турумбету, куда Александр собрался в такой поздний час.

— Понимаешь, завтра инвентарь привезти должны. Ну, плуги, сеялки... Пойду в мастерскую. Поделывать еще кое-что нужно.

— Пойдем вместе,— предложил Турумбет.

— Тебе-то зачем?— очень горячо возразил Александр.— Ты лежи. А я скоро...

Турумбет остался один. Не любил он теперь одиночества—отвык, что ли, или, может, за спиной Александра спокойней? Спокойней, конечно: никто из тех при русском джигите не ткнется. Неплохо придумано. Жаль, нельзя Александра в школу с собой водить. Там, хочешь, не хочешь, с глазу на глаз с этим науком оставься.

После того разговора Турумбет к Дуйсенбаю не ходит. Да и бай вроде отстал от него. Эх, отстал бы и вправду! Какую жизнь наладить можно! Детей грамоте учить... С Александром на мэтэсэ поработать... Семейей, как все люди, обзавестись... Семья... Какая там она еще будет? А ту, что была, не вернешь... Ничего не вернешь...

Сквозь откинутый полог юрты виден молодой месяц. Если лежать неподвижно и долго, неотрывно глядеть на него, начипает казаться, будто это вовсе не месяц, а шут в колпаке, который над тобою смеется...

## 24

Опять те же лица. Только с каждым разом их становится меньше. Где Ахун Нурумбет? Где Атанияз — «белая шапочка»? И Таджима что-то не видно...



Нет, Таджики появляется — быстрый, злой, крепкий... Красивый мужчина!

— Во имя аллаха милостивого и милосердного... — тянет скрипучим голосом ишан Касым, и все присутствующие вторят ему.

Эти слова лежат в начале всякого богоугодного дела. Какое будет сегодня?

— Братья, счастливая звезда возшла на нашем небо-склоне! Близится час, когда всемогущий аллах гневом своим испепелит всех неверных, оскверняющих землю! Извечный порядок, установленный богом, придет в наши дома, просветлит и очистит души! Страшным проклятием...

Опять те же речи. Сколько лет слышит Дуйсенбай эти посулы и эти угрозы! А счастливая звезда все никак не взойдет, и неверные не провалятся в ад. Конечно, аллаху куда торопиться — у него впереди вечность! У Дуйсенбая положение другое...

Однако нужно послушать, что говорит Таджики.

— ...У них тысячи сабель, пулеметы. Они придут из пустыни и будут мстить каждому, кто запродавался больше-воям!.. Но пока они не придут, разве можем мы, братья, спокойно взирать, как топчутся наши святые обычаи, попирается вера отцов?! Не можем! Девочки, которым замуж пора, идут в школу! Женщины, которым аллах указал хранить семейный очаг, бросают дома, бросают мужей и собираются в гнездах разврата — в артелях! А чтоб дети им не мешали предаваться разврату, младенцев своих, будто скот, сгоняют в отару. Она по-ихнему называется ясли...

Вот оно что! Когда люди рассказывали Дуйсенбаю, что в городе швейную артель открыли, где одни женщины работают, он, по наивности своей, разумеется, так и думал — артель. Выходит, иначе. Когда говорили, что детям специальный дом отвели, где няньки за ними присматривают, он так и думал — дом для детей. Теперь понятно — загон! Смущало Дуйсенбая одно: те же люди, которые про артель и про ясли ему говорили, поведали еще и с том, будто Джумагуль сама, за собственные деньги, машину «Зингер» для этой артели купила. Так если притон, зачем же машина? Что-то не слышал Дуйсенбай до сих пор, чтоб...

Додумать эту глубокую мысль до конца Дуйсенбаю не дали: сквозь вязкий туман в уши ему ворвался голос Таджики, и этот голос называл его, Дуйсенбая, имя.

— Дуйсенбай!.. Эй, Дуйсенбай!.. Да толкните его, чтоб проснулся.

Дуйсенбай виновато захлопал глазами:

— А я не... задумался просто.

— Ладно. Просим вас, вот как я о городе, рассказать, что там в ауле. Сумеете?

— Отчего не сумеет?— вроде бы даже оскорбился Дуйсенбай.— Аул наш Бахытлы в этот год...

— Как?!— вытянул шею, весь подался вперед уса-тый Таджим.

— Тьфу ты! Привычка проклятая! Мангит... О чем я?.. Этот год в наш аул...

И Дуйсенбай стал рассказывать о приезде в аул русского парня, которого все зовут Мэтэсэ-джигитом, а зовут его так потому, что приехал он строить в Мангите какую-то кузницу по имени мэтэсэ. Что будут ковать в этой кузнице, от Дуйсенбая, понятное дело, скрывают, но он так догадывается, что либо кинжалы, либо золотые монеты, чтоб, значит, у них было больше денег, чем у нас. (Эту версию шутки ради как-то нашептал ему Калый). А пока в доме, который для мэтэсэ построили, спрятаны под замком бороны, сеялки, плуги — все, что на прошлой неделе из Турткуля прислали. И еще одна новость: школа в ауле открылась (о том, что открылась она в его собственном доме, Дуйсенбай до времени решил утаить), и учителем в ней — Турумбет, тот самый джигит, что верным нукером был у Таджима.

Потом говорили другие, а в общем вести из всех аулов были одни — открывались школы и богопротивные заведения, именуемые аптеками, создавались ТОЗы, строились большие кооперативные дома, общими силами дехкане рыли отводные каналы.

Итоги подвел сам ишан. Предав проклятию, как и положено, всех живых и мертвых вероотступников, он изложил свой план:

— Главной грешнице города, дочери Зарипбая Джумагуль — смерть! — Бросил взгляд в сторону Зарипбая, спросил: — Отец хочет слово сказать?

— Нет! — четко, как удар подковы о камень, прозвучал ответ Зарипбая.

— Волю отца... — поправился: — Волю аллаха исполнит Таджим!

Усатый Таджим склонился в благодарственном поклоне. Ишан продолжал:

— Одной из тех, кто, переступив закон шариата, пошла в школу, в назидание всем остальным — смерть! — И, снова повернувшись к Таджиму, добавил буднично, поделовому: — Кого там из них, сам разберешься.

Зарипбай подсказал:

— Хорошо бы на кухню яс.. яс.. как их там? детского дома своего человека подослать. Хотел там, наверно, один. Щепотка, больше не нужно.

Все, кто был в доме, повернулись в сторону Зарипбая. Один так и замер с кисайкой в руке, у другого отвисла челюсть, кто-то старательно выдавливал из себя кашель. Ишан сделал вид, что этих слов не слышал.

Затем, к усладе ушей Дуйсенбая, ишан заговорил про Мангит. Так выходило, что аул ожидают большие события. Отряду Джуманияза-палвана будет приказано в подходящую ночь разрыть берег канала так, чтоб вода мощным потоком хлынула на дома и посевы. Пока объятье паникой мангитцы будут спасать свое имущество, отряд проберется к дому, который называется мэтэсэ, побьет там все, что возможно, а что невозможно — утопит в канале.

На Дуйсенбая изложенный план произвел впечатление, тем более, что его-то дом стоял на возвышенности. Он предвкушал удовольствие, какое получит, наблюдая, как мечутся между домами соседи. Кто тащит ребенка, а у кого баран на руках. Этот с испугу забрался на дерево, тот будто к месту прирос. А главное — все как один в исподнем!

Пока в воображении Дуйсенбая разыгрывалась эта уморительная картина, безмолвно сидевший до сих пор Кутымбай произнес своим гнусавым голосом:

— А школа как же?.. Про школу забыли?

Сердце у Дуйсенбая екнуло, как селезенка у загнанной лошади.

— Да что там школа? Возиться не стоит! — сказал он с безразличным видом. Но Кутымбай гнул свое:

— Школу, её первую палить нужно! Чтоб и пепел по ветру!

«Неужто проведал?» — с тоской подумал Дуйсенбай и горько пожалел, что сразу не открылся. Но теперь отступить было поздно.

— Верно говорит Кутымбай: начинать нужно со школы. А мы в этот час воду из канала пустим. С двух сторон, значит, как в клещи возьмем!— рассуждал Джумания-палван. Повернувшись к Дуйсенбаю, спросил:— Где она там? Далеко от тебя?

— Да не так далеко... рядом,— промямлил в ответ Дуйсенбай.

— А рядом, так тебе ее и поджечь!

На том порешили. Дуйсенбай вслух поклялся, что наказ ишана будет выполнен свято, а про себя дал странную клятву так отомстить Кутымбаю, чтоб у того и дом сгорел, и сам в этом доме вместе со всей своей живностью.

Однако даже эта страшная клятва не сняла каменной тяжести с души Дуйсенбая. Удовольствие, которое он предвкушал получить, было испорчено — заранее и окончательно.

Когда заговорщики один за другим расходились, Дуйсенбай нагнулся к сидевшему за дастарханом Таджиму.

— Нукер-то твой, Турумбет, совсем от рук отбился. Боюсь, как бы про все наши дела не сказал где следует.

— Подозреваешь?— вскинулся Таджим.

— Ведет себя, знаешь...

— Ладно, скажу Джуманиязу — прикончит.

— Не нужно кончать. Пригодится еще. Пусть поупражняется.

— Попугаем...— ответил Таджим неопределенно.

Так и ушел Дуйсенбай, не поняв, какую судьбу уготовил аллах Турумбету.

## 25

Выбор игрушек был невелик. Средств на их приобретение еще меньше. Тем строже подходили женщины к отбору каждой куклы, пробочного пистолета и погремушки. Зачастую мнения расходились, и тогда возникали жаркие споры. Вместе с Кызларгуль, недавно вступившей в должность заведующей детсадом и яслями, в этой дискуссии участвовали Джумагуль, Фатима, Ульджан, за которой они зашли по дороге, и еще две женщины из городских активисток. Пока дело не дошло до матрешек, все шло нормально. На матрешках мнения разошлись принципиально. Кызларгуль считала, что они безобразны, что,

взглянув на такую игрушку, ребенок с испугу может на всю жизнь остаться занкой. Фатима же, напротив, стояла за матрешек грудью. Не видя выхода из тупика, женщины обратились к сопровождавшему их, скромно стоявшему поодаль, Муканову: пусть скажет он. Как скажет, так и будет. Но Муканов уклонился от роли высочайшего судьи, заявив к вящей досаде покупательниц:

— Человеку с бородой не пристало заниматься игрушками — не мужское занятие! А вообще любой мужчина вам посоветует: не стриги бороду при двух свидетелях: один скажет «длинная», другой — «короткая»...

Из магазина женщины вышли с двумя узлами, плотно набитыми звенящим, мяукающим, стрекочущим товаром.

По дороге, придерживав Джумагуль, жена Коразбекова пожаловалась:

— Знаешь, беспокойно у меня на душе: третий день вокруг яслей какой-то мужчина вертится. Сначала — дети во двор, он с ними заигрывает — мячик достал, леденцы предлагает, а сегодня на кухню зашла — с кухаркой сидит.

— Каков из себя?

— Каков.., Мужчина как мужчина — о усами, в штанах... Зубы у него такие ровные-ровные... Одним словом, видный мужчина, пожалуй, красивый даже. Да?

— Откуда мне знать? — пожалала плечами Джумагуль. — Может, предупредить Ембергенова?

— Ну что ж, по-твоему: как увижу мужчину ближе версты от яслей, так бежать к Ембергенову?

— Смотри..,

Около яслей Джумагуль тепло попрощалась с женщинами и вместе с Мукановым пошла в интернат — на сегодня там было назначено комсомольское собрание, и Баймуратов велел ей присутствовать.

Она опоздала — собрание уже началось. Слушался вопрос о приеме в комсомол новых членов.

Долговязый парень, тощий, с узкими покатыми плечами и тупымшаком — тонкой косичкой, оставленной на выбритой голове, — запинаясь, рассказывал свою нехитрую биографию. Коразбеков, сидевший в президиуме, ощущивал парня колким прищуренным взглядом.

— Зачем отпустил этот хвост? — набросился он на парнишку, как только тот смолк. — Когда сбреешь?

Юноша покраснел, засмущаяся.



— Мама сказала, так просто нельзя. Нужно той — большой праздник — сделать, много людей позвать, барана зарезать... А у нас нет барана — совсем бедные...

— Ты что, потомок муллы или ишана? — не отставал от джигита Коразбеков. — Бедные, говоришь... — И повернулся к председательствующему: — Социальное происхождение проверили?

— Да чего проверять — известно! Он уже год у нас в интернате! — крикнул бойкий парнишка из первого ряда.

Упершись руками в стол, так что спина его взгорбилась, Коразбеков пацелился было на этого смельчака, но Джумагуль опередила его:

— Для чего ты вступаешь в комсомол?

— Чтобы быть верным делу Ленина... Чтоб уничтожить всех классовых врагов... Чтоб учиться. Чтоб защищать нашу родину!

— А тебя никто не принуждал вступать в комсомол? — спросил Муканов.

Лицо парня расплылось в широкой улыбке:

— Да вы что?! Я сам.

— Есть еще у кого вопросы? — поднялся председатель.

— Имеются, — откликнулся все тот же Коразбеков, неторопливо обошел стол и вдруг, резко повернувшись к парню, вонзил в него короткий вопрос: — Бог есть?

Джигит растерялся, ответил не очень уверенно:

— А бои его знает... Слыхал, нету.

— Слыхал или знаешь точно? — наседал Коразбеков.

— Нету.

— Значит, нет, говоришь? А чем доказать можешь?

Положение юноши становилось затруднительным.

— Могу поклясться, чем хотите...

— А водку пьешь?

— Не пробовал.

— Вот и попался, голубчик! — торжествуя воскликнул Коразбеков. — Юлишь, притворяешься, а на самом-то деле религия у тебя вот где сидит! — Он почему-то ткнул себя пальцем в живот. — Кто запретил водку пить? Пророк Мухаммед! А как должен поступать комсомолец? Если пророк говорит «нет», комсомолец говорит... что?

— Да... — потерянным голосом произнес совсем оробевший парень.

Быстрым движением Коразбеков выхватил из кармана бутылку, плеснул из нее водку в стакан, стоявший на столе президиума, протянул парню:

— На, докажи!

Не раздумывая, не обращая внимания на громкий смех в комнате и протестующие возгласы из президиума, юноша дрожащей рукой взял стакан и, зажмурив глаза, перевернул содержимое в рот.

Несколько минут он стоял будто его оглушили — рот разверст, глаза выпучены, длинный тулымшак упал на лицо. Когда, наконец, дар речи к нему возвратился, он обеспокоенно спросил:

— Это не яд?

— Чудак! Религия — это яд! А водка — противоядие от религии. Хочешь еще? — удовлетворенно, по-отечески покровительственно говорит Коразбеков, затем поворачивается к президиуму и тоном совершенно официальным заявляет: — Достоин! Я — за.

Бурная реакция зала. Джумагуль приходится выступать.

— Ребята! Товарищи комсомольцы! Тише!..

А когда устанавливается тишина, говорит:

— Кто это, интересно, учил товарища Коразбекова испытывать религиозность людей при помощи водки?! Ерунда! Полнейшая ерунда. Правильно: религия — яд. Но водка — тоже отравка. Она изъедает и душу и тело... Но вопрос тут, конечно, не только в водке... и не только в религии... Некоторые, как Коразбеков, думают так: раз революция, значит, все вверх дном. Раньше водку не пили, значит, теперь будем пить! Раньше чай из воды делали, теперь, значит, будем воду из чая. Глупости! Раньше жепщина бесправной рабыней мужа была, что ж, значит, теперь муж рабом жены своей должен стать? Словоблудие это!.. Да, товарищи комсомольцы, революция многое перевернула — общественный и государственный строй, отношения между народами, человеческое сознание... Но лучшее из того, что было раньше, революция не будет ни переворачивать, ни уничтожать. Разве мало у нашего народа прекрасных традиций? Мы обязаны их сохранять. Разве мало замечательных дастанов и песен было сложено нашими поэтами и сказителями? Зачем же нам отказываться от этого богатства или переворачивать его вверх дном? На Третьем съезде комсомолии, в два-

дцатом году, Ленин говорил, что коммунистом можно стать только тогда, когда обогатишь свою память всем лучшим, что было создано в прошлые века. Он говорил...

Топот бегущей толпы, громкие крики прервали выступление Джумагуль. Резко хлопнула дверь Всклокоченный парень бросил с порога:

— Айджан, дочь водовоза, убили!

Она висела на перекладине городских ворот. Ей было одиннадцать лет...

Джумагуль открыла глаза, прислушалась. Ночь. Во сне ровно дышит Тазагуль... Через пять лет ей тоже будет одиннадцать... Двадцать две буквы алфавита, сложение и вычитание в пределах первого десятка — это все, что успела узнать Айджан. Ее хоронил весь город — мужчины, женщины, дети... Кто это сделал? За что? За что девочку?.. А ты говорила: убеждать, перевоспитывать, миловать. Нет, мстить! Уничтожить их всех! Звери!

Быстрая тень метнулась по комнате. Приподнявшись на локте, Джумагуль посмотрела в окно. Ветер? Нет, на улице тихо. Такая тишина, что страшно становится... Устала, изнервничалась, кошмары начинают мерещиться. Нужно уснуть...

Но сон не шел.

Трудно придется. Завтра, наверное, половины учеников в школе не будет — не пустят родители. А что я могу им теперь сказать? Все видели: городские ворота... перекладина... маленькая, хрупкая девочка... Ульджан, несчастная женщина... Это я во всем виновата! Я заставила ее отвести девочку в школу! Если б не я...

Тело Джумагуль сотрясается от рыданий. Она подымается, укутавшись пуховым платком, стоит у окна. Ужасная ночь!..

Скрипнула дверь — кто-то снаружи налег на нее. Не поддалась.

Джумагуль метнулась к детской постели. Кричать? Звать на помощь? А если он по голосу узнает, куда стрелять?.. Забыла, все забыла! Как же они с матерью в тот раз от этого злого ветра избавились?..

Трясущимися руками она достает спрятанный в нише паган, бесшумно подбирается к двери.

Медленно, будто на ощупь, подымается по щели книжальное лезвие. Вот оно наткнулось на железный крючок, звякнуло...

Джумагуль прижалась к стене. Дверь прикрыла ее. Стрелять! Нужно стрелять! Нет, не сейчас, еще не сейчас...

Он минуту стоит на пороге, вглядывается в темноту, затем пружинистым шагом рыси ступает в комнату. Шаг... Еще шаг... И вдруг, словно что-то почувял, рывком повернулся...

Вот теперь нужно стрелять!

Два громких выстрела разбудили соседей. Первым убежал в комнату Нурутдин.

Посреди комнаты, раскинув руки, вытянулся какой-то мужчина.

Джумагуль лежала за дверью ничком.

— Свет! Зажгите светильник! Да быстрее, быстрее! — командовал Нурутдин.

Кто-то сунул ему в руку светильник. Маджитов осветил лицо Джумагуль, принал ухом к груди.

— Жива... Воду!

Через несколько минут Джумагуль открыла глаза, испуганно вскрикнула:

— Дочка!.. Где Тазагуль?

Забившись в угол, Тазагуль тихо плакала. Ее подвели к Джумагуль, посадили рядом, она ткнулась лицом в материнскую грудь и теперь с облегчением разрыдалась во весь голос.

Маджитов осмотрел Джумагуль: ладонь левой руки пробита навылет.

Пока Фатима промывала и перевязывала рану, Нурутдин отошел к незнакомцу. Он был мертв.

— Никто не знает этого человека?

Соседи, один за другим, склонялись над лицом незнакомца, освещенным тусклым светильником, молча отходили в сторону: нет, этого человека не знал никто. Последней подошла Джумагуль. Всмотрелась, отпрянула:

— Таджим!.. Этого человека звали Таджим...

Днем состоялось экстренное заседание бюро окружкома. Докладывал на нем Баймуратов.

Зверское убийство школьницы, покушение на заведующую женотделом Зарипову, ряд других фактов свидетель-

ствуем о том, что в округе действует тайная контрреволюционная организация. О том же говорят события, разыгравшиеся прошлой ночью в ауле Мангит...

Бюро приняло решение мобилизовать на борьбу с политическими и уголовными преступниками всех коммунистов округа.

Начальнику ОГПУ Оракбаю Ембергенову и заведующей женотделом Джумагуль Зариповой, как человеку, хорошо знающему эти места, было предложено завтра же выехать в Мангит и разобраться в сложившейся там обстановке.

## 26

Эту ночь мангитцы запомнят надолго. За аулом уже стояла беда, уже взнуздали коней нукеры ишана Касыма, и Дуйсенбай уже сунул в карман коробок драгоценных спичек, а люди еще спокойно занимались своими делами, над чем-то смеялись, о чем-то мирно беседовали, любили, надеялись, ждали...

В полдень Турумбет закончил занятия в школе и, как обычно, хотел уйти вместе с последним учеником — чтоб с Дуйсенбаем один на один не оставаться. На этот раз не удалось.

— Смотрю, торопишься всегда, бежишь. А куда торопиться? — загородив своей жирной тушей ворота, осклабился бай.

Турумбет набычился, ничего не ответил.

— Хорошо ли живешь? — миролюбиво продолжал допытывать его Дуйсенбай.

— Живу.

— А мать-старуха как поживает?

И чего привязался! Делает вид, будто и про ссору забыл, и про то, что больше не прислужник ему Турумбет. Точка!

— И мать слава аллаху.

— Деток, стало быть, учишь? Ну-ну... А может, и меня на старости лет? А?

— Чего вас учить? — все с той же грубоватой резкостью отвечал Турумбет.

— Нас не хочешь? Гордый какой! Тогда, что же, мы тебя уму-разуму поучить должны? Это можно.



— Знаю я вашу науку!

— Ой, не всю, не всю еще знаешь! — сладко улыбался Дуйсенбай. — Ну, не стану тревожить твою вольную душу — беги!

Скверный осадок оставил в душе Турумбета этот разговор. Всю дорогу, пока шел домой, отплевывался. Стращает? Или на самом деле решил его проучить? С них станется!..

Дома Турумбет никого не застал — ни матери, ни Александра, почти до самого вечера пришлось сидеть в одиночестве.

Подобно тому, как ночь придает свою окраску предметам, одиночество накладывает отпечаток на человеческие переживания. То, что при свете дня видится ясно и четко, ночью приобретает очертания причудливые и устрашающие. То, что на людях только печаль, в одиночестве — неизбывное горе.

Зарежут, как шелудивого цаа прибьют, думал Турумбет, тоскливо ворочая кочергой полуистлевшие угли. Выследят где-нибудь, и нож в спину — во имя аллаха! Или в канале утоят. Плыви тогда себе лодочкой до самого Аральского моря!.. О, чтоб вы пропали, твари поганые, убийцы!.. Убийцы... А сам тоже не ангел, у самого тоже руки в крови... Что же делать? Пойти поклониться Дуйсенбаю в ноги, сказать: приказывай, господни! В кого там еще нужно стрелять, кого рубить топором, сапогами топтать?.. Вспомнить тошно! Нет, конец — больше этому не бывать! Умываю руки... Тогда, значит, в тебя будут стрелять. Где та дверь, которая ведет к спасению?

Турумбет швыряет в сторону кочергу, подымается, решительным шагом выходит из юрты.

— Ты куда, сынок? — окликает его Гульбике, возвращающаяся домой с какой-то добычей под мышкой.

Турумбет не отвечает, не оглядывается даже. Да, он пойдет к аксакалу и — будь что будет! — расскажет все. Все! Как в набеги ходил, клятвы давал Нурумбету, топором в руках Дуйсенбая был. Пусть судят! Лучше так, чем всю жизнь мучаться!..

Он пойдет к Туребаю и скажет... Нет, не сразу. Сначала он спросит: «На прошлой неделе приходил ко мне с просьбой, чтоб я тебя грамоте обучил. Не передумал?.. Ну, если не передумал, можем начать хоть завтра, хоть

послезавтра — как хочешь». Потом о жизни в Турткуле расскажет. А уж потом — слушай, аксакал, всю мою правду!..

Турумбет идет через нильную площадь, мимо огороженных юрт, по узким улицам аула. Сейчас все решится!..

Он был уже совсем рядом с домом Туребая, когда из-за кустов выскочила огромная степная овчарка. Черная шерсть у нее на загривке встопорщилась, пасть оскалена, глаза кровавые. Турумбет только успел повернуться, как собака вцепилась ему зубами в голень. Раз, другой. Потом отскочила, готовясь к новому прыжку. Турумбет отступил к изгороди, рванул прут, с силой хлестнул перед мордой собаки.

Овчарка преследовала Турумбета, пока он не вернулся на площадь. Едва отбивался. А когда, грозно порывав на прощание, пес убежал обратно, Турумбет со страдальческим видом стал осматривать и ощупывать себя со всех сторон. Два глубоких укуса на ноге, штанина разодрана от колена до самого низу, кровавая царапина на ладони — это когда вырвал прут из ограды. Что ж, все ясно, не о чем больше гадать — это сам аллах дал ему знак, остановил на пути к гибели.

Турумбет вернулся домой, обмыл раны и, расстелив молитвенный коврик, устал на колени.

Александр застал его в постели.

— Чего лежишь? Вставай! Ужинать будем.

Но Турумбет не поднялся: что-то неможется ему сегодня.

Наскоро перекусив, Александр убежал опять, сказал, в мастерскую. Теперь он часто по вечерам в мастерскую ходит — много работы. Гульбике растянулась в дальнем углу юрты и вскоре оттуда донесся переливчатый храп, перемешанный с всхлипами и бормотанием. Турумбет снова остался один.

Он лежал, и сердце его билось теперь успокоенно. Как хорошо, что есть в небесах великий аллах! Вот ты думаешь, мучаешься, ищешь какого-то выхода... А не нужно: он за тебя все обдумал и все для тебя нашел. Ты только умей угадать его волю и делай, как он велит. Он тебе указчик во всем, он за все и ответит, и незачем тебе терзаться...

Сон сморил Турумбета.

Но спал он недолго. Что-то тяжелое, жаркое сдавило ему грудь, и Турумбет проснулся.

В первый момент в кромешной темноте юрты он ничего разобрать не мог. Кто-то дышит над ним, чья-то рука больно стиснула горло. Турумбет рванулся, но попробовал было вскочить, но удар по лицу опрокинул его обратно.

— Не шевелись! — услышал он тихий, сдавленный шепот. — Видишь?

Трясаясь всем телом, Турумбет приоткрыл глаза, увидел занесенный над собой длинный книжал.

— Пискнешь — но самую рукоять всажу!

Наступила долгая, страшная пауза. Потом ночной гость заговорил снова:

— Будешь все исполнять, как прикажут! Продашь, отступишься — в собственной юрте зарежем! И за русского джигита не прячься — не поможет. Прикончим его вместе с тобой! Понятно?

Турумбет хотел что-то ответить, но не было голоса. Он согласно кивнул.

Незнакомец исчез, будто в воздухе растворился. А Турумбет продолжал лежать на спине — холодный, спокойный, пустой. И лишь одна мысль сверлила его: «Эх, Александр, ну почему тебя не было?..»

Это место на берегу канала в густых зарослях камыша показала Мэтэсэ-джигиту Нурзада. Здесь никто не мог ни увидеть, ни услышать их — плеск воды заглушал голоса. Сами же они, появившись кто поблизости, сразу заметили бы его. Лучшего места для любовных свиданий не сыщешь.

— Мне нужно идти, — потянула девушка руку из ладоней джигита.

— Не торопись — рано еще.

— Заметят, нету меня — искать начнут, плохо будет.

— Чудная ты девушка! Да ведь все равно нас заметят — не сегодня, так завтра. Чего нам таиться?

— Ой, не говори так, не говори. Никто не должен заметить. Нельзя так у нас. Иначе совсем я пропала.

— Ладно, сейчас пойдешь — еще пять минут.

Прошло еще полчаса.

Раздвинув камыш, Александр ступил на тропинку.

— Осторожней — вода.

— Тише! Смотри!..

По противоположному берегу канала, едва различимые в темноте, двигались всадники, двигались осторожно, бесшумно — то ли плеск воды скрывал топот, то ли копыта коней были обвязаны тряпками. Сколько их было, всадников этих, Александр сосчитать не сумел, показалось, десятка полтора, а может, и два.

В рощице всадники спешили и, вскинув на плечи какие-то длинные предметы, по одному, крадучись, пошли по направлению к мостику. Что-то недоброе, преступное было в том, как шли эти люди.

Александр притянул к себе девушку, шепнул:

— Беги в аул! Пусть скорее сюда! С ружьями, кетменями, топорами — что есть...

— Я не могу! Все сразу узнают, что я была здесь с тобой!

— Я буду следить, а ты беги, беги!

— Это.. Ты хочешь меня опозорить! Я повешусь!

— Мы потом все объясним.

— Не могу!

— Себя спасаешь?! А если весь аул пропадет? — горячился, торопил Александр.

Нурзада опустила голову, произнесла оброченно:

— Хорошо, если потребуешь...

— Иди. И не бойся — я люблю тебя, я тебя очень люблю, Нурзада...

Девушка скрылась. Выждав минуту, Александр, пригнувшись, пошел к мостику...

Чем ближе подходил назначенный час, тем тревожной и пакостней становилось на душе Дуйсенбая. Бандиты! Мало того, что сами убивают и жгут, — других заставляют! И главное, палить-то заставляют свое, кровное!.. Дернула же тогда Дуйсенбая нелегкая дом под школу отдать — жертвоприношение новому богу! Теперь приноси жертву старому богу. Так, двум богам угождать, вконец разоришься.

Дуйсенбай расстелил постель, погасил светильник, но не лег, а вышел за ворота, долго вглядывался в темноту, нет ли кого поблизости. Губы его беспрерывно шевелились — то ли дрожали от холода, то ли что-то невнятно бормотали.

Жертвоприношение... Если честно, так лучше служить новому богу: он и покарать, он и наградить может. А ста-

рый... вот только та сила, что в этих бандитах, у него и осталась, да и той, видно, ненадолго хватит: переловят их, как мышей, за решетку пересажают. Как Нурумбета, как Атанияза... В жертвоприношениях всяких тогда резон есть, когда надежду имеешь сторицей вознаграждение за них получить. А если надежды такой не остается, тогда и жертвоприношение уже не жертвоприношение, а милостыня, брошенная из жалости нищему дервишу. Потому и бог, у которого нет такого могущества, чтоб по достоинству вознаградить усердие раба своего, вовсе не бог, а так — кугурчак — ярмарочная марионетка...

Убедившись, что никто за ним не следует, Дуйсенбай вернулся во двор, жалостливым взглядом окинул свой большой, недавно подновленный дом, достал спички, призвав в свидетели старого бога — вот, гляди, какую жертву несу я на твой алтарь! — зажег связку сухих камышовых стеблей, сложенных подалеже от дома, поближе к служебным пристройкам и соседним дворам. Расчет был прост и коварен: велено было ему школу поджечь — поджег. Те, что на канале, сейчас сигнала — багрового зарева — ждут. Увидят? Нельзя не увидеть. При нужде подтвердят: Дуйсенбай сделал все, как было приказано. А что горит не школа сама, а пристройка — поди разгляди с канала! Не такой дурак Дуйсенбай, чтоб собственный дом поджигать. Конечно, и пристройка тоже не чужая — своя, да все одно покосилась, угол вон завалился, на будущий год хоть так, хоть иначе перекладывать нужно. Правда, может случиться, соседское хозяйство займется: но это уж не его забота, а соседская; пусть умеют добро свое сберечь! Не Дуйсенбаю о том печься. У него и своих хлопот по самое горло.

И правда, много хлопот у Дуйсенбая — все продумать, заранее все подготовить. Вот сейчас; поджег камыши — и в постель под одеяло, будет спать, пока люди его не разбудят: «Пожар! Пожар! Вставайте, бай-ага, дом горит!» А он спросонья: «Что? Где? Чего горит?..» Самое важное теперь, чтоб вовремя заметили, не то и пристройка горит, и дом, и сам хозяин. Но и здесь, кажется, все предусмотрел Дуйсенбай. Днем Ходжанияза к себе в дом залучил, беседу с батрачком затеял, знал — не может статься такого, чтоб тот да упустил удобный случай выклянчить чего-нибудь у Дуйсенбая. Не бывало такого. Верным себе остался батрачком и на этот раз: во как сед-



ло ему нужно! Старое совсем износилось. Конечно, по-морочил его Дуйсенбай сколько положено, кланяться и клясться заставил, а потом — помни мою доброту — пообещал:

— Чего не сделаешь для лучшего друга? Дам тебе седло. Только, сам понимаешь, днем тащить его через весь аул, чтоб люди видели, не гоже. Пойдут разговоры! бай, мол, седло подарил батрачкуму, теперь сам его оседлал. А ты приходи ко мне в полночь. Никто не увидит, языками трепать не будут...

Ходжанияз с готовностью согласился.

— Помни, ни раньше, ни позже — в полночь. Ты понял?— Еще раз напомнил Дуйсенбай, когда Ходжанияз уходил.

Так вроде со всех сторон обдумал Дуйсенбай это дело, все подготовил, все до мелочей предусмотрел, а все же, когда, раздув пламя, кинулся в дом, забился в исподнем под одеяло, по спине холодные мурашки забегали. Вдруг что не так? Вдруг заминка какая?

Заминки не произошло. Ходжанияз, шедший через аул за обещанным даром, увидел багровое зарево еще издали. Со всех ног бросился он туда, где горело, и, ворвавшись в дом Дуйсенбая, дверь которого хозяин, разумеется, совершенно случайно, забыл запереть, крикнул истошно:

— Пожар! Дом горит! Эй, проснитесь!

Но Дуйсенбай не проснулся. Тогда, не раздумывая, Ходжанияз сорвал с хозяина одеяло, стал тормошить, орать в ухо:

— Пожар! Дом горит, Дуйсеке!

Теперь не проснуться нельзя было. Дуйсенбай с трудом продрал глаза, поглядел на батрачкума непонимающим взглядом, спросил с притворной растерянностью:

— А? Что? Где горит?

— Дом ваш горит! Быстрее!

— Людей разбудил?

— Никого еще не будил. Как увидел, сразу сюда, к вам. Вставайте!

«Вот болван!— мысленно выругался Дуйсенбай.— Из-за такого весь план сорвется». И вслух приказал:

— Людей подымай! Слышишь? Соседей буди! Соседей!

Ходжанияз убежал, и тотчас с улицы донесся его отчаянный крик:

— Горим! Подымайтесь! Эй, люди, пожар!

Дуйсенбай выждал еще какое-то время и, когда убедился, что народу набежало много, вышел на крыльцо.

— Во-ей! Помогите! О аллах!— извыл он нечеловеческим голосом.

— Оденьтесь!— потянула его обратно в дом старшая жена. Дуйсенбай упирался, беспорядочно размахивая руками, но в конце концов сдался, позволил жене увести себя в комнату.

Пламя с пристройки успело переброситься в соседний двор, подбиралось к дому Дуйсенбая.

Народу с каждой минутой становилось все больше. Женщины ахали, в ужасе заламывали руки, кто-то плакал, кто-то искал в темноте своего ребенка. Из соседней юрты прямо на улицу выволакивался домашний скраб, Испуганно мычали коровы. Сноп искр вздымался в самое небо.

— Чего стоите? Тушить нужно!— набросился на толпу Дуйсенбай.— Все сгорим!

Кто-то должен был стать за главного, взять руководство людьми в свои руки, распоряжаться, приказывать, требовать. Само собой получилось, что этим главным оказался спокойный, всегда уравновешенный Сеитджан.

— Воду! Всю воду, что в доме,— сюда!— командовал он.— Пристройку растаскивать. Вы заходите с той стороны. Вы — отсюда...

Вскоре в действиях группы мужчин, обступивших огонь, намечился какой-то порядок. В толпе созерцателей по-прежнему царил хаос.

Дуйсенбай занимал позицию серединную. Он мотался между теми и другими и без конца повторял:

— Нопимасшь, сплю я, сладкий сон такой вижу, и вдруг: «Пожар! Горим!».. Так и сгорел бы — не прослулся. Эх, беда!..

И тут ворвалась в толпу Нурзада. Бледная, запыхавшаяся, все оглядывалась по сторонам, кого-то искала. Локтями пробилась вперед. Среди тех, кто тушил, увидела отца, бросилась к нему, горячо зашептала:

— Там люди какие-то на канале... Недоброе замышляют... Нужно туда!

Калий посмотрел на нее подозрительным взглядом, произнес сердито, с угрозой:

— Тебе чего там, на канале, среди ночи?

- Потом, потом я все объясню!.. Нужно туда!
- Домой! Без тебя разберемся!
- Отец!
- Домой, я сказал!

Понурав голову, Нурзада вернулась к толпе, которая, будто болото, засосала, втянула ее в себя. Какие-то люди мяли и толкали ее, поворачивали то в ту, то в другую сторону, и со всех сторон она видела испуганные, растерянные, напряженные лица.

Растерянность ее продолжалась недолго. Вскинув голову, вытянув шею, она крикнула своим ломким девичьим голосом:

— Люди! Там на канале какие-то всадники. Недоброе замышляют. Бегите туда!

Те, кто подальше стоял, за гулом толпы не расслышали, кто поближе — удивленно воззрились.

— Ты чего? Умом тронулась? Тут пожар, а она — бегите!

Напрягнув все силы, Нурзада крикнула снова:

— Мэтэсэ-джигит приказал: хватайте что есть — ружья, кетмени, топоры—и на канал! Иначе — беда!

Упоминание имени Мэтэсэ-джигита, видно, подействовало на толпу. Со всех сторон посыпались вопросы:

— Так он тебе и сказал?.. А сам-то где, отчего на пожар не пришел?.. И много их там, всадников этих?..

И чей-то панический крик:

— Люди! Они окружили аул! Всех перережут! О-о!..

— Чего ты тут панику сеешь?— подошел Туребай, вместе с другими растаскивавший горящую пристройку.— Что случилось?

Нурзада рассказала все, что видела сама, что велел ей передать Александр. Да, она знала — этот рассказ будет ей стоить девичьей чести, а может, и жизни. Но так велел Мэтэсэ-джигит...

Туребай пошел к группе мужчин, рвавших огонь на части, поговорил там о чем-то, вернулся к толпе.

— Мужчины, джигиты! Все, кто без дела,— по домам! Хватайте какое оружие есть... Нурзада покажет, где эти всадники... А мы, справимся с делом, тоже туда. Действуйте, братья!..

Прокравшись к мостку, Александр снова увидел группу мужчин с какими-то длинными предметами на плече— ружья не ружья и на палки вроде бы не похожи,— не

разглядишь в темноте. Растянувшись гуськом, незнакомцы шли теперь берегом Кегейли, шли осторожно, в полном молчании. Александр крался за ними."

В том месте, где насыпь канала опускалась почти до самой воды, ночные пришельцы остановились, сняли с плеч свою пошу. Теперь Александр разглядел совершенно отчетливо: эти длинные предметы — лопаты и кетмени. Но зачем они понадобились? Что собираются эти люди здесь рыть?

Александр подошел еще ближе, настолько, что, раздвинув камни, мог разглядеть лица, расслышать разговор неизвестных.

— Может, начнем? — спросил один голос.

— Приказано ждать Джуманияза-налвана.

— Чего он там с этим учителем столько времени возится? Ткнул, и конец...

— Явится.

И действительно, вскоре со стороны Мангита появился огромного роста мужчина. Джуманияз-налван и вправду богатырем оказался.

— Пожником понугал, так что язык у него в живот провалился... Давайте!... И, схватив лопату, Джуманияз первым всадил ее в сырую рыхлую землю. Вслед за ним взялись за кетмени и лопаты и все остальные.

Быстрая, как молния, и, как молния, острая мысль полеснула Александра по самому сердцу: рушат берег! Если не помешать им, вода хлынет на аул, все сметет, все уничтожит — людей, постройки, поля... Но как в одиночку им помешать, как остановить это страшное злодейство?.. Эх, что это долго так не добежит Нурзада до аула? Или, может, побоялась сказать — своя честь дороже...

Опершись на лопату, Джуманияз поглядел в сторону аула, воскликнул ликующе:

— Смотрите — горит! Все как задумано! Ну, теперь нам никто не помешает. Приналяжем, джигиты! — И он снова погрузил лопату в податливую прибрежную землю.

Стараясь не потревожить камни, Александр оглянулся и обмер: над аулом полыхало багровое зарево. Пожар! Значит, нечего ждать ему помощи из Мангита — там сейчас свенх хлопот по самое горло. А если хлынет еще и вода, тогда уж будет не по горло, а с головой. Сволочи! Что придумали! С двух сторон, в кленцах аул удушить.

Александр до боли сжал кулаки, до скрежета щепил

зубы. Бессильная ярость толкала его на какую-то безрас- судную дерзость. Но что, что сделать? Нужно спугнуть. А как их спугнешь один, безоружный?..

Зарево над аулом разгоралось все ярче. Багровые от- светы мерцали на черном атласе воды, играли с копнами молодых турангиловых листьев, кровавыми пятнами об- рызгали лица и руки пришельцев.

Решение пришло неожиданно. Александр отполз, встал на ноги и что было духу помчался к мостку, затем по пра- вому берегу вниз, туда, где, помнилось, всадники приви- зали коней. Остался там кто-нибудь их стеречь или нет? От этого будет зависеть, как Александру действо- вать дальше.

Последние несколько сажен он прополз на коленях. Притаился в ложбинке, вился взглядом в кустарник, где были привязаны лошади. Эх ты, черт, выходит, оставили: двое мужчин с обрезамн, перекинутыми за спину, тихо переговариваясь, разгуливали по лужайке. Был бы один, знал бы Александр, как поступить. А как с двумя спра- виться?

Он прокрался к коню, привязанному с краю, тихо распутал уздечку и махом вскочил в седло. Конь заржал, встал на дыбы, но сбросить всадника не сумел. Тяжелым ударом и пронзительным свистом Александр оглушил же- ребца, заставил рвануться галоном.

Первая пуля просвистела у Александра над головой, вторая гулко шлепнулась в ствол турангила. «Стреляйте! Стреляйте еще! — прыгала у него в голове отчаянно-счаст- ливая мысль. — Ну, стреляйте же, сволочи!»

Расчет оправдался: через короткое время со стороны мостка послышался топот множества ног. Врассыпную, побросав кетмени и лопаты, пугаясь в полах длинных ча- панов, бежали насмерть перепуганные землекопы. Самый быстрый из них уже вскочил на коня и волчком завертел- ся на месте, не зная, откуда грозит опасность, в какую сторону нужно бежать. Вслед за ним вскочил на коня и другой, затем третий... Последним, тяжело отдуваясь, прибежал великан-предводитель.

— Откуда стреляли? — прохрипел он и бросился к сво- ему коню. Коня на месте не оказалось.

— Мы стреляли, — дрожащим голосом объяснил один из оставшихся для охраны. — Глядим — жеребец на дыбы, а на нем человек. Как огреет коня! А мы по нему!..



— Попали?

— В такой темноте попадешь... — оправдывался второй из охраны.

— Дураки! Ослы воючие! Бабы! — разъярился Джуманияз. — Соображаете, что натворили? Мы так думали, целый аул на вас палетел. Какой-то один конокрад... Да из-за вашей стрельбы все дело сорвалось!.. Ну, если сорвется... и коня моего не приведете обратно — головы отрублю! Вот перед богом клянусь — отрублю!

Храбрые воины Джуманияза постепенно приходили в себя, уснокаивались, но с коней пока никто не сходил.

— Спешитесь! Коней привязать! — грозно приказал великан. — Ты и ты, — указал он на двоих, бывших в охране, — и вы четверо, — это те, кто оказался к Джуманиязу поближе, — пойдете туда и пустите воду. Там работы осталось — пара лонат. А мы здесь будем ждать. Ну!

Нукеры, на которых пал выбор, не проявили особой ретивости. Один даже попробовал воспротивиться наказу наивана:

— Конокрад, говоришь... А может, их там целая сотня...

— Трус! — замахнулся камчой Джуманияз. — Шкуру спущу!

Пришлось подчиниться. Нехотя, едва волоча тяжелые ноги, с видом обреченных на вечные муки, двинулись шестеро нукеров по направлению к мостику. Шедший последним остановился:

— Вы бы не здесь — на мостке поджидали. А то конокрады эти мост перехватят — канкап, куда нам деваться?

— Ладно, идите, будем поджидать на мостке, — согласился Джуманияз-великан.

...Александр, привязавший неподалеку коня и снова подкравшийся к всадникам, очень отчетливо расслышал весь разговор. Значит, решили вернуться, довести до конца! И теперь, кажется, их не остановишь.

Спустившись за стеной камыша к самой воде, он видел, как по берегу, с той стороны, низко пригнувшись к земле, шли шестеро нукеров. Их тени слились с черной стеной кустарника, и затем только глухие удары кетмелей говорили Александру, что там творится. В беспомощном отчаянии он поглядел на аул — туда, где в розовых клубах дыма горело ночное небо, подумал с тоской: не уйдут... Разувшись, сбросив одежду, он кинулся в ле-

диную воду канала, поплыл к противоположному берегу. Зачем? Что он сумеет сделать? Над этим Александр сейчас не думал. Каждый удар кетменя молотом бил его по ушам, по голове, по самому сердцу, и мысли его были заняты одним: еще несколько взмахов лопаты, еще пятьдесят минут, и эта темная, мертвяще холодная масса неудержимой лавиной хлынет вниз, на аул...

Сильное течение канала снесло Александра метров на сто ниже того места, где копошились пукеры. Мокрый, дрожащий всем телом, он вышел на берег и, сам понимая бессмысленность того, что вершит, воздел голые руки, с диким ревом пошел на врага. И странное дело — басмачи побежали. Александр хотел закричать еще громче, страшней, но в эту минуту споткнулся, упал, задохнулся. Он молчал, а крик продолжался, крик нарастал, превратился в гуд, и Александру почудилось, будто идет этот гуд из-под земли. Он поднялся, взбежал на пригорок и замер, не зная, радоваться ему или горевать: со стороны аула неслась гудящая толпа — вот отчего бежали пукеры! — а рядом с Александром, почти у самых ног его, редела, неплась вода...

Первым примчался Калий. Желая определить глубину прорана, он с ходу ткнул кетменем в воду и, не удержавшись, полетел вниз. Пришлось Александру снова нырять в ледяную купель.

К счастью, проран оказался не очень глубоким — не успели бандиты как следует над ним поработать. Но теперь с каждой минутой вода сама расширяла и углубляла проток. Нужно было срочно перекрыть ей путь в долину, потому что через час или два сделать это будет невозможно.

— Кетмени, лопаты, посохи — все сюда! — командовал Орыпбай.

— Разбирайте мосток!.. Женщины! Бегите в аул — серпы, косы, мешки! Побольше, побольше!..

И закипела работа. Доски и бревна из разобранного мостка вбивались в проран, в воду летели связки тут же накошенной травы, охапки камышовых стеблей. Кто-то первым придумал, связав рукавами халат, как мешок, набить его землей и камнями. Пошли в ход халаты. А вскоре вернулись и те, кто бежал в аул.

То один, то другой из мужчин нырял в воду и, опустившись на дно, придерживал шест. Несколькими богатырскими ударами Орыпбай загонял его глубже.

Перед рассветом, когда самое страшное было позади, подошли на канал и те, кто тушил в ауле пожар. Силы прибавилось.

К утру вода была остановлена. Мужчины насыпали еще свежую землю — подымали для безопасности берег, а женщины, утомленные, с запавшими за ночь глазами, с побледневшими лицами, расходились по домам.

Невесть откуда появился пропадавший где-то Ходжанияз.

— Братцы! Вся мастерская наша, что кровью и потом, — вдребезги!.. — сообщил он чуть не плача. — Плуги, бороны, сеялки — все пропало...

Александр сорвался с места, бросился вниз, на дорогу. Орынбай окликнул его:

— Постой, Мэтэсэ, вместе пойдем. Теперь куда торопиться?

Мужчины двинулись к аулу. Шли тяжело, молчаливо. И только Ходжанияз нестрокрылой бабочкой порхал перед ними, успокаивал, утешал, и утешения эти многим казались издевкой.

...Батрачком не солгал: стены да крыша — все, что осталось от мастерской.

В полдень аул еще спал. Или пританцлся после напасть — зализывал раны. Надрывно мычали застоявшиеся во дворах коровы — настух не погнал сегодня стадо на выгон. В чайхане, где всегда многолюдно, дремлет на суне мальчишка-разносчик: некого потчевать чаем, никто не пришел. На улицах пусто.

Откинув полог, Турумбет вышел из юрты, нахлобучил на брови панаху, туго затянул поясной платок. Привычный путь вел его к школе.

Он прошел через двор никем не замеченный, заглянул в обгорелую дверь. Потолок обвалился, от скамеек, на которых сидели детишки, осталось несколько черных, обуглившихся палок. На земляном полу в грязных растекшихся лужах валялись обрывки бумаги.

Он зашел, на корточках уселся у стенки, о чем-то задумался. О школе, которой больше не было? О детях, озорных мальчишках и девчонках, которым, бывало, так и съездил бы по уху? Об учителе?..

Когда Турумбет вышел во двор, Дуйсенбай, положив на козлы бревно, пилил его двуручной пилой. Пила изгибалась, виляла, застревала в бревне.

Турумбет отвернулся, склонил голову, обошел Дуйсенбая, не взглянув на него. Дуйсенбай не окликнул. В воротах Турумбет будто за что зацепился — стал, повернулся, затем подошел к Дуйсенбаю, схватился за ручку пилы.

## 27

Много лет прошло с тех пор, как впервые въехала Джумагуль в этот аул. И многое переменилось—и в жизни Мангита, и в самой Джумагуль. Невестой, несмышленной девчонкой стояла она на том берегу канала и старалась прозреть, какую судьбу уготовил ей бог, потому что только бог властен одарить тебя счастьем или повергнуть в беду. Какая наивность! Потом, в школе, где Джумагуль занималась, ей внушали другое: нет ни бога, ни черта — каждый сам полновластный хозяин своей судьбы, кузнец своего счастья или могильщик надежд, каждый сам себе бог! Бывает, конечно, но в общем, если по совести. — приятный самообман... Айтбай-большевой, который открыл ей глаза, — вот кто вершил судьбу Джумагуль, кто ее бог! И Туребай с Багдадуль, которые подобрали ее, не дали погибнуть, — они тоже. И тот оратор на площади, и Нурутдин Маджитов, и Марфа Семеновна — ее добрые боги... Но были и злые, они тоже по-своему пытались повернуть судьбу Джумагуль...

Белый в яблоках жеребец шел ровным, широким шагом. Джумагуль плавно покачивалась в седле. Рядом на вороном длинноногом коне ехал Ембергенов. По тому, как поглядывал Оракбай на нее, по его смущенному виду Джумагуль давно догадалась, о чем хочет джигит завести разговор. Но стоило Оракбаю подступить к деликатной материи, как Джумагуль каким-то деловым, серьезным вопросом или совсем несерьезной шуткой сбивала его. В конце концов Ембергенов насунился, примолк, похоже, обиделся даже. А Джумагуль разглядывала такую знакомую ей дорогу, и мысли ее медленно плыли, будто перистые облака на горизонте.

Наверное, и она, Джумагуль, не ведая, сама не предполагая того, тоже на чью-то судьбу повлияла, была чьим-то богом — злым или добрым. Как же иначе: ниги моей судьбы в твоих руках, человек — возлюбленный, товарищ, прохожий, а в моих — твоя судьба, твои радости и печали. Помни об этом. И я всегда буду помнить... Вот идут они, люди, по пыльному чимбайскому тракту — кто навстречу, а кто в ту же сторону... нет, не люди — боги, боги идут по земле...

С возвышенности, куда дорога подняла Джумагуль и ее молчаливого спутника, открылся вид на аул — глинобитные крыши, конусы юрт, утонувшие в зеленых кустах деревьев, а воцел большой дом, на окраине тоже какое-то новое здание — раньше не было. Ну, довольно, хватит дорожных мечтаний! Нужно за дело! Сейчас будет улица с валуном посредине — и что его сюда занесло? — потом поворот, третий слева — дом Туребая. Стой, жеребчик, — приехали!

Джумагуль остановилась у акакала — Багдадуль никуда не захотела ее отпускать. Ембергенов — в большом тозовском доме.

Первый день ушел на расспросы — что да как происходило в ту ночь? Каждый, разумеется, в общий рассказ привносил что-то свое. Калию, например, померещилось, будто дом Дуйсенбая был поражен огнем сверху, с неба, где на атласных подушках восседает аллах. Сеитджан утверждал, что за час до пожара видел мужчину огромного роста, выскользнувшего из юрты Турумбета. Больше всех рассказал Александр — про всадников, возникших из ночи, про подслушанный им разговор.

— Вы уверены, что этот человек, Джуманияз-палван, ходил к Турумбету, а не к другому кому-нибудь? — спрашивал Ембергенов.

— Так я понял из их разговора.

— А он наутро вам ничего не сказал?

— Нет. Но судя по виду... Вид — будто змею проглотил: и противно, и страшно.

— Ладно, понаблюдаем за вашим учителем, какой он там наукой по ночам занимается. А что насчет пожара сказали?

— Пожар не случайный — ждали они его, наперед знали, что будет, — говорил Александр.

— Думаете, кто-то из их людей? Может, тот же Дуй-



сенбай? — предположил Ембергенов, но сам и отверг свою догадку: — Нет. Вряд ли стали бы они палить дом бая. Кто-то другой! А кто?.. Турумбет?.. Почему?

Приходил Орынбай, привели пьяного Ходжанияза. Он бормотал что-то невнятное насчет плугов и сеялок, клялся именем бога, что уважает ОГПУ и, как брата родного, любит Ембергенова. Пришлось отпустить — пусть проспится.

Не хватало еще одного свидетеля — Нурзады. Она не пришла и тогда, когда послали за ней нарочного. Нарочный, шустрый мальчишка лет четырнадцать, вернувшись в дом аксакала, захлебываясь от волнения, рассказывал:

— Я, дяденька, туда, значит, в дверь, а тетя Айзада обратным ходом меня вынихивает. Я говорю, дяденьки там дочку вашу кличут, потолковать с ней желают. А она: «Нет ее дома, сам толкуй с дяденьками, если желают!» А я говорю, со мной не желают — им Нурзада ваша нужна, а она...

— Пстой, пстой! — попробовал Туребай остановить парнишку, но не тут-то было.

— Не, я все доскажу. Я мигом, дяденьки. Ладно?.. А тут из компаты как закричит кто-то, как закричит! Думал, режут. Я — туда, а тетенька Айзада меня обратно, прямо по носу смазала. И дверь — раз, на замок. Вот.

Все, кто был в комнате и знал прав Калия, весело рассмеялись. Только Александр, выслушав этот рассказ, переменялся в лице: с той поры он ни разу больше не встретил Нурзаду. Он и сказал:

— Чем смеяться, лучше пойти туда. Может, какое несчастье... — И настоял: Джумагуль, Туребай и увязавшийся за ними парнишка-нарочный пошли к Калю.

Потом много лет подряд эта история во всех правдивых и присочиненных подробностях передавалась от одного к другому, и не было в ауле с тех пор такого — большого или малого — тоя, на котором какой-нибудь удалой остро слов не поведал бы ее в лицах. А дело было так.

Калий проснулся раздраженный и злой.

— Дочь твоя позором хочет покрыть мою голову! — набросился он на жену. Привычная к ворчливости мужа, Айзада на всякий случай ответила:

— Будет хоть что-то на голове. — Лысая голова Калия давно стала тем точилом, на котором правили свои языки все остро словы Мангита.

Дерзкая шутка жены окончательно вывела Калия из равновесия. Он сжал кулачки и бодливым козленком бросился на пышную Айзаду.

— Беспутная на свидание к джигиту бежит, стыд потеряла, в мамашу пошла, чтоб вас обеих!.. Людям в глаза теперь не посмотришь!— Волчком носился Калий вокруг жены, осыпая ее градом ударов.

Айзада, месившая тесто, выпрямилась, снокойно оглядела себя, отмахнулась:

— Фу ты, слепень проклятый, привязался — житья не дает!

Калий взбесился. Схватив кочергу, он пошел на решительный штурм твердыни.

— Постой!— попыталась унять его Айзада.— Так и без жены недолго остаться — кочергой не заменишь.

Но Калий продолжал наскакивать на нее воинственным петушком. Айзада развела в стороны руки, обхватила тщедушного Калия, стиснула в объятиях, да так, что дух у него сперло. Затем, не торюясь, добросовестно, как все, что она делала, связала мужу руки, ноги и бережно водрузила его на сложенные горой одеяла.

Как зашеленатый младенец барахтался и уж совсем не как младенец сквернословил Калий. В этот момент как раз и явился мальчишка-парочный, которого посылали за Нурзадой. Выпроводив его без задержки, Айзада вернулась к орущему мужу, уснокопла:

— Будешь ругаться — заткну рот.

Что оставалось делать несчастному Калию?

Айзада продолжала неторопливо месить тесто. Калий молчал.

Сколько времени продолжалась эта немая, жестокая схватка, доподлинно никому не известно. Известно лишь, что не выдержал Калий. Повозившись на своей пуховой галере, побряхтев, покашляв для виду, он попросил обиженным, жалобным голосом:

— Развяжи....

— Прощения попросишь — развяжу,— ответила Айзада, эта бессердечная женщина.

— Развяжи — сходить нужно.

Довод серьезный, как показалось жене, заслуживающий внимания. Вытерев руки, она направилась к мужу, но в это время раздался стук в дверь. Туребай и Джумагуль вошли в комнату.

Айзада успела набросить на мужа лежавший рядом халат, предупредила вопросы:

— Захворал, на ногах не стоит. Что делать, не знаю.

И все бы, наверное, кончилось благополучно, если бы не вздумалось Калию в этот момент повернуться. Будто со снежной горки, он скатился к ногам оторопелых гостей.

Мальчишка-парочный, подглядывавший в дверную щелку, завопил от восторга.

— О-о, отец!— всплеснула руками Айзада. И только Калий не растерялся.

— Ну, в следующий раз гляди у меня — не пожалею! Давай развяжи!—Несколько необычное положение Калия требовало разъяснений, и пока Айзада освобождала от пут его руки и ноги, он разъяснял весьма бойко:—Вывела меня совсем из терпения, просто удержу нет рукам, так сами и тянутся бабу эту поколотить. А новый закон, слышал, не велит — не тронь, говорит, женщину, она мать! Ну и наказал ей: свяжи, мол, мне руки, а то за себя не ручаюсь, могу и убить ненароком!..

— Вот все, как было, сказал, все, как было,— с готовностью подтвердила Айзада.

— А ноги зачем?— не выдержала, прыснула Джумагуль.

— А это чтоб от жены к другой не убежать с досады,— без тени смущения отвечал Калий.

— Хотел еще и глаза себе завязать — чтоб и не видеть меня, да спохватился поздно: руки связаны.

Нурзады дома не было: как утром ушла, до сих пор нет и где ходит, одному богу ведомо. Туребай попросил:

— Вернется — пусть ко мне зайдет ненадолго. Есть разговор.

— Это с каких же таких пор аксакалу с девушками заводить разговоры дозволено? Слава аллаху, не сирота — отец для разговору имеется,—вступился за честь своей дочери Калий, но Айзада решила по-своему.

— Не беспокойтесь: как появится, сама приведу.

Нурзада не пришла к аксакалу. До самых сумерек не возвращалась она и домой. Со сбившейся на темя косышкой бегала Айзада по соседям, спрашивала, не видел ли кто ее дочь. Никто не видал. Калий, словно лев, загнанный в клетку, мерил комнату широкими шагами. При каждом появлении жены он бросал на нее вопросительный взгляд и, услышав: «Нигде нет. Будто сквозь зем-

лю...», откликнулся одной и той же пропитанной ядом фразой: «Яблоко от яблони...»

Трижды посылал Александр мальчишку-парочного проведать, не вернулась ли Нурзада, и трижды мальчишка прибегал ни с чем — не вернулась. Весь в холодной испарине Александр обегал аул, исходил па несколько верст вверх и вниз по течению берег капала. Нурзады нигде не было.

Нашел он ее уже затемно. Она сидела на ящике в углу разрушенной мастерской, попикшая, съезжившаяся, и подборонок ее страдальчески вздрагивал.

— Девочка ты моя, хорошая моя, с ног сбился — искал тебя. Чего от меня-то прячешься? — присел перед ней на корточки Александр, взял ее за руку.

— Они все... про меня... такое... — по-детски обиженно скривила рот Нурзада, и крупная слеза покатилась у нее по щеке. — Что мне делать?..

— А что про тебя? Зла ты им никакого не сделала, копей не крала. А будут кумушки по-за углами небылицы плести, так ты плюнь! Плюнь, и все!

Нурзада разрыдалась.

— Если б ты понимал... Хоть в воду бросайся, хоть...

— Ну, знаешь, ты эти глупости брось! — поднялся, строго, даже резко оборвал Нурзаду Александр. — Я к тебе... Говорил ведь: люблю я тебя! Если и ты, тогда... Любишь?

— Ой, нельзя мне такие слова! Это только бесстыжие такие слова говорят!

— Ну, как мне с тобой? А про то, что жениться на тебе, как о счастье, мечтаю, про это можно сказать?

— Нет, нельзя, — сквозь горячие слезы слабо улыбнулась Нурзада.

— Ладно, сватов пришлю, калым, как положено... Так?

— Так можно. Но отец все равно за тебя не отдаст — бог у тебя другой...

— Ну, за богом дело не станет: перекрещусь в мусульманскую веру — и вся недолга.

— Тебе бы все шутить, а я... Эх, кто бы мне добрый совет дал... — вздохнула девушка.

— К Джумагуль иди. Знаешь ее? Сегодня приехала, у аксакала жить будет. Она тебя спрашивала, потолковать о чем-то хотела. Пойдешь?

— Проклятье! Ну, хоть ты тресни — не везет! Думал, ты меня выручишь, поставил на карту — опять перебор... Так что ты давай, собрайся, с ним пойдешь.

— Куда собираться? Куда я должна идти?

— Куда поведет, туда и пойдешь — на то он и муж.

— Оставьте меня! Оставьте! Я никуда не пойду! — истерично закричала Улмап и потянула на себя одеяло. — Лучше убейте!

— Не могу. Игра — сама должна понимать! — дело чести: продул — отдавай! Как же иначе?!

Улмап сорвалась с постели и в чем была метнулась в комнату, где спали дети, усилием отчаяния и страха сдвинула к двери тяжелый сундук, разбудила детей.

— Да пойми ты, дура, кому ты нужна? — продолжал из-за двери увещевать ее муж. — Побудешь у него два-три дня, он с тобой разведется, вернешься домой. Ну!

— Уйдите! Буду кричать! Весь аул разбуджу! Все расскажу! Про вас, про ваши дела!

— Я тебе расскажу! — пригрозил Ходжанияз, но рвать-ся в двери больше не стал — видно, конопатый старик утащил его обратно к картежному столу.

Улмап собралась, одела детей и, выждав подходящий момент, бежала из дому.

...Молча, внимательно выслушала Джумагуль исповедь жены батрачкама. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Спросила глухим, ровным голосом:

— Чего же ты хочешь?

— Спасите!..

— Спасение одно — иди к людям!

Улмап всполошилась:

— Не могу, сестра, не могу! Если узнают, что о нем сделают? А дети — сироты на всю жизнь?..

— Лучше пусть сиротами, чем с таким отцом... А другого спасения нет — к людям!

— Я подумаю... Подумаю я... — перешительно откликнулась жена батрачкама.

— Надумаешь — приходи на собрание...

Собрание состоялось на следующий день. Вечером в дневнике Джумагуль появилась новая записка.

«Я часто думаю: в чем наша главная сила? Наверное, в том, что мы сказали: люди, рай — это сказки, счастье может и должно быть достигнуто человеком на этой земле. Вот какое оно — коммунизм! Вот дорога к нему —



революция! Люди, если вы желаете счастья, знайте — оно само не придет. За него нужно бороться.

Быть может, то, что я сейчас написала, давно и всем известная истина. Быть может. Но я ведь пишу для себя, мне очень важно в этом до конца разобраться.

Сегодня было собрание. И что удивительно, так это та страсть, с которой люди разоблачали зло. Откуда она, эта страсть? Оттого, что люди знают теперь, что есть правда. Оттого, что уверены: в этой борьбе их поддержит всемогущество власти!

Началось с разговора о событиях «пожарной» ночи. Я подумала так: о фактах много не нужно — о них здесь лучше меня знают.

Итог всех выступлений: срочно восстановить разрушенную басмачами мастерскую МТС, в ближайшие дни отремонтировать комнаты, где находилась школа, и возобновить занятия, обязать всех родителей, имеющих детей младшего возраста, отправить их в школу, часть юношей и девушек поедет заниматься в Турткуль. В их числе Пурзада — дочь Калия. По примеру Чимбая договорились создать у себя детские ясли и сад. Чтобы предотвратить возможность повторения событий той ночи, решили создать отряд самообороны, быть бдительными.

Главное произошло под конец. Один из батраков, работающий на Дуйсенбая, потребовал, чтоб батрачком считался перед собранием — на каких условиях заключает договора, чьими интересами руководствуется, когда устанавливает такую низкую оплату рабочего дня, — интересами батраков или интересами бая? Батрака поддержали. Пришлось Ходжаниязу держать ответ перед людьми. Юлил, изворачивался, вконец изолгался. И тут — боже ты мой, как я обрадовалась! — откуда-то сзади, из темного угла поднялась Улман. Если б не люди, Ходжанияз убил бы ее там, как зверь разодрал! А Улман — молодец! Конечно, я понимаю и ее волнение и слезы ее. Но ничего — теперь ей будет легче, она еще найдет себя.

Сначала Улман говорила о своих семейных делах, а он ей: «Лжешь!», «С ума сошла!» Одним словом, сам заставил ее все до конца рассказать. «А то, что зерно вы с баем, как воры, ночью таскали — тоже врать?!», «А юрту новую бай вам поставил просто так?», «А на какие деньги каждую ночь в карты играете? Не на те, которые дали вам, чтоб плуги, бороны, сеялки из мастерской в ту

ночь вывезли да где-то припрятали? Сама слышала, как договаривались!» Такая тишина в чайхане наступила — инсек комара слышно. А потом крик, свист, топот. Ходжанияз, конечно, от всего отпирается: не брал, не видел, не знаю. Ну, тут уж пусть Оракбай отношения с ним выясняет. Из батрачков, понятное дело, Ходжанияза долой. Кто новым будет? И тут с замиранием сердца я предложила: Бибайым!.. Вот так и появилась в нашем округе первая женщина-батрачком.

Послезавтра еду на Еркин-Дарью в аул Кутымбая. Ембергенов на несколько дней задерживается в Мангите — говорит, нужно с Ходжаниязом кое-что выяснить, по-моему, и Турумбет у него на примете. Неужели мог дойти до того?.. Потом Оракбай тоже поедет на Еркин-Дарью. Там и встретимся».

В обычный час с тыквой-горлянкой на плече Багдадуль шла на канал. За последней юртой аула, где дорога спускалась к каналу, ее ждал Турумбет. Багдадуль заслонилась горлянкой, сделала вид, будто не замечает его, хотела пройти. Не удалось.

— Послушай! О чем просить хотел... — произнес он тягучим бесцветным голосом, не отрывая взгляда от груши-кисета с кожаной кисточкой, которую мусолил в руках.

— Кого другого проси! — злобно кинула Багдадуль на ходу.

Турумбет потянулся следом.

— Обиду таишь? Брось! То дело прошлое, забытое.

— Теперь поумиел?

— Да вроде... Прикажи — прощения буду просить.

Багдадуль не замедлила шага, не взглянула на Турумбета, а он не унимался:

— Так, слышишь, сделай добро. Век не забуду!

— Ну, чего? — сжалась над ним жена аксакала.

— Потолковала б ты с Джумагуль — пусть бы вернулась... Скажешь, что было, то было — все, мол, простил. А?

— Сам иди. Сам все и скажешь. Радость-то у нее будет какая!

— Да пеловко: мужчина...

Все уговоры были напрасны — Багдадуль наотрез отказалась от роли посредницы в его семейных делах.

— Хочешь — сам с ней толкуй. Да поторапливайся — поутру в дорогу собирается.

Турумбет повернул обратно, дошел до туребаевых ворот.

Ходил по улице взад и вперед, пока не явилась с полной горлянкой жена аксакала. Она и ввела его в дом.

Джумагуль что-то писала. Увидев Турумбета, вскинула голову, тесно стянула узлом на груди шерстяной платок, закусила губу.

— Здравствуй, жена!

Джумагуль промолчала. Откашлявшись, Турумбет продолжал:

— Тут дело такое: невесту для меня подыскали. Так не знаю — жениться мне или как?.. По старому обычаю, могу, конечно, без тебя дать ответ — четыре жены имею право держать. Только чего же — я теперь человек грамотный, в Турткуле учился, сам понимаю. Потому и пришел твое слово спросить. Вернешься — не буду жениться..

— Женись!

Турумбет хотел что-то сказать, поперхнулся, а когда заговорил снова, в голосе его дрожала просительная нотка.

— Думаешь, что, каким был Турумбет, таким и остался? А я, может, весь как тот хауз! яма старая, а вода в ней вся свежая.. По-новому б жили..

— Прешлого не вычеркнуть..

— Ради дочки! Чтоб сиротой не росла, — горячо уговаривал Турумбет. А Джумагуль отвернулась к окну и задумчиво, с тихой грустью глядела на тббель, на стаю ласточек, облепивших его зеленые ветви, на одинокое облачко, вызолоченное раскаленным закатным солнцем.

— Говоринь, ради дочки, чтоб сиротой не была.. — горестно усмехнулась Джумагуль. — Что же ты не думал об этом в ту ночь, когда гнал нас из дома?

— Эх, рассказал бы я тебе, какими путами бы стрепожеп, — многое б поняла.. Ладно, может, другим разом и откроюсь тебе.. — Турумбет помолчал, затем вытащил из кармана цветастую косынку, протянул Джумагуль. — На, возьми!

— Это зачем?

— Как от мужа.

Джумагуль отпрянула, сказала решительно:

— Нет!

Глаза Турумбета медленно наливались гневом, на скулах задвигались желваки.

— А я, знаешь, развода тебе не давал! Могу и потребовать! — процедил он сквозь зубы и крепко стиснул плечо Джумагуль.

— Отпусти — сдержанно, ровным, спокойным голосом произнесла Джумагуль, и было что-то такое в этом спокойствии, в ее уверенной сдержанности, что рука Турумбета разжалась. Буйная ярость, закипавшая в нем, сменилась безнадежным отчаянием. Он крикнул с надрывом:

— Ведьма! Сгубила ты мою жизнь! Пожалеешь еще! Пожалеешь!

## 28

В былые времена, отправляя Турумбета кинжалом и пулей вершить на земле волю аллаха, Дуйсенбай считал пужным пасулить ему богатства, славу, власть и любовные улады в этой жизни и вечное блаженство — в той. Времена переменились: посулы несякли, зато угрозы сыщлются градом.

— А если, душа моя, замыслил ты недоброе — бойся аллаха! Он и на ровной дороге пропасть под твоими ногами разверзнет, и в собственном доме твоим громом поразит тебя, и в чашу, которую примешь из рук родной матери, змею неприметно подсунет. Ну, конечно, не змею целиком, а... сам понимаешь... Да ты меня слышишь?

Турумбет согласно кивнул, хотя спроси его Дуйсенбай, о чем сейчас толковал, — не ответит. Рядом сидят, с той стороны дастархана — один, с этой — другой, а будто час пути разделяет: едва-едва доносится до ушей Турумбета глухая напевная речь. Помнится, в детстве еще, когда отец учил его плавать, нырнет Турумбет, из-под воды на берег посмотрит. Отец в двух шагах от него, и по тому, как кривится его рот, Турумбет понимает — что-то кричит, а до него, Турумбета, лишь слабый отголосок доходит. Так и здесь: видит Турумбет, как кривится рот Дуйсенбая, а что говорит — не разобрать. Все плывет, колышется перед ним. С чего бы это? Не пил, не курил...

Дуйсенбай дернул Турумбета за пояс:

— Запомнил? В четверг, как смеркаться начнет, к горе Кусхана поедешь. У подножья — пещера. Знаешь, верно. Там сбор... Славное дело замыслено — на Чимбай походом пойдете! А вести вас сам ишан Касым будет. Понял?

Потом Дуйсенбай говорил что-то еще, но Турумбет будто снова ушел под воду. Опомнился он, когда увидел протянутое Дуйсенбаем кольцо с крупной печаткой.

— Это тебе.

Турумбет взял кольцо, долго разглядывал сложные переплетения вензеля на печатке. Где начало, где конец — не разберешь. Падучей звездой мелькнула досадная мысль: ну, в точности моя жизнь... А кольцо настоящее... Только на что оно Турумбету? И подарить даже некому...

— Нравится? — расслышал он над собой вопрос Дуйсенбая.

— Ценная вещь.

— Хе-хе! — рассмеялся хозяин. — Такая вещица легкую жизнь дарует и смерть тоже — легкую... Ты вот здесь поддень поготком, сбоку, сбоку... Видишь?

Под печаткой таился яд!

Турумбет от испуга чуть не вырвал перстень.

— На что это мне?

— Не тебе, душа моя, не тебе. Не волнуйся, — успокоил его Дуйсенбай. — Порошочек этот — не приметно так, потихонечку — в кисайку постояльца своего высыпешь. Вместе ж обедаете? А потом на коня — и в пещеру к ишану Касыму. Он тебя выбрал, чтоб свершить над гяуром суд всевышнего, он и воздаст тебе по заслугам, по-хански воздаст. Не сомневайся!

Мутная, вязкая жижа застлала Турумбету глаза, заложила уши, холодящей струйкой просочилась в грудь. Убить Александра... А за что он будет его убивать, что дурного тот ему сделал? Нет! Уж лучше...

Турумбет с ненавистью взглянул на жирный, заплывший затылок бая и, когда хозяин скрылся за дверью, потянулся к его кисайке.

Не успел: слишком короткий был разговор у Дуйсенбая с женой — дошел до порога и сразу назад. Но, вернувшись, взглянув в глаза Турумбету, хозяин заволновался.



— Ну, так запомнил, как ее открывать? В точности все запомнил? Открой — посмотрю.

— Запомнил, — угрюмо откликнулся Турумбет.

— Открой!

И лишь после того как убедился, что содержимое печатки на месте, Дуйсенбай успокоился, блаженно откинулся на подушки.

До четверга оставалось два дня. Два дня — это, значит, Турумбету трижды, нет, четыре раза садиться с Александром за дастархан. И каждый раз — пытка. Потому что, только приблизится он к дастархану, — нечатка, что спрятана в поясном платке, раскаляется, как тот уголь в очаге, и жжет нестерпимо. Ни о чем другом Турумбет теперь и думать не может. А Александр, будто назло, такими дружескими глазами глядит на него, с такой участливостью допытывается, отчего Турумбет все хмурится, ходит как в воду опущенный, — ну прямо сквозь землю бы провалиться! Сегодня за утренним чаем сказал Турумбету:

— Вижу, что-то тяжелое у тебя на душе, что-то мучает. Откройся — полегчает. Это — сколько раз на себе проверял! — как нарыв: вскрыешь — пройдет.

Турумбет отмолчался.

Но самая страшная минута была у него, когда за обедом появился вдруг Туребай. Из-за полога позвал Александра:

— Эй, Мэтэсэ, выйди — слово сказать нужно,

О чем они там говорили, Турумбет не знает — не до того ему было. На дастархане, лишь протяни руку, стояла каса с шурмой Александра. Сейчас он поговорит с Туребаем и вернется за дастархан. Турумбета забила маляринная дрожь. По спине побежали мурашки. Лоб покрылся холодной испариной. Эх, джигит, что ты так долго с аксакалом стоишь?!. Проклятье!..

Александр вернулся, сел на прежнее место, с апетитом набросился на шурпу. Он-то ест, а вот Турумбет глядеть на шурпу больше не в силах — от одного ее вида тошнота подымается к горлу. Встал, направился к выходу,

— Ты почему обед бросил? — удивился, посмотрел ему вслед Александр.

— Захворал, Выйду на воздух,

Бормоча под нос проклятья и ругательства — самые страшные, какие только знал, — Турумбет спустился в овраг, долго искал подходящее место, затем, убедившись, что никого поблизости нет, стал кинжалом копать землю. Когда яма была вырыта, он достал из поясного платка золотую печатку, с чувством страха и гадливости, словно то была живая гадюка, опустил ее в землю и закопал. Чтоб при случае найти это место, в трех шагах справа и слева положил по два голыша и, вытерев руки о полы халата, вздохнул с облегчением.

— Ну, полегчало? — спросил Александр, когда, час спустя, Турумбет вернулся домой.

— На том свете полегчает, — буркнул Турумбет, всем видом своим показывая Александру, что к задушевному разговору расположения не имеет. В чем стоял, повалился на курпачу, сгибом локтя прикрыл глаза. Александр больше не досаждал.

Так, почти не вставая, пролежал Турумбет на курпаче всю ночь и весь день. Крихтя, шамкая беззубым ртом, уговаривала его поесть, ну чай хоть глотнуть, Гульбике — выругал. Приходил человек к Ембергенову звать — отмолялся. Не ответил и на расспросы Мэтэсэ-джигита. Уже к вечеру дотянулся до ученических тетрадок, взял карандаш и лежа начал что-то писать. Потом грубыми нитками сшил сложенный вчетверо листок, а когда пришел Александр, сказал:

— Хвораю я, встать не могу. Так, может, передашь Ембергенову — пусть бы жене отвез... бывшей.

— Передам. К нему и собрался. Может, еще чего передать?

— Больше ничего.

Поздним вечером, когда и мать, и Александр уснули, Турумбет тихо поднялся, вышел на улицу, неслышным шагом спустился в овраг. Вскоре он был уже там, где закопал накануне золотую печатку. Он хорошо запомнил вчера это место — ложбинка, рядом пенек, а потом голыши — по два справа и слева. Ложбинку нашел, пенек не сдвинулся с места, голыши пропали. Турумбет обошел ложбинку и раз, и другой, согнувшись, ощупал каждую тень, обшарил рукой все вокруг — нет голышей, ну, словно снег под солнцем, растаяли. Подумал с тоской: неужели не в той ложбинке закопал? Походил по оврагу, снова вернулся — нет, видно, замятовал.

Тяжело, будто тащил на себе непомерный груз, выбирался Турумбет из оврага. На кромке остановился, перевел дыхание, лег на землю спиной.

Аул — словно вымер — ни огонька, ни звука живого. Только тени, где погуще, а где посветлей. Из-за рваного облака мертвым глазом уставилась на землю луна.

Турумбет поднялся, зашел под навес, где сонно посанывал копь, снял с гвоздя вожжи. Затем, притаившись со двора ступу, дотянулся до балки, перекинул через нее вожжу, затянул крепким узлом. Что ж, значит, не вышла, не получилась у него жизнь, можно и точку поставить...

## 29

«Жена!

Это я тебя так, потому что в последний раз. Решил — все. А перед смертью хочется начистоту. Прикинул, кто у меня самый родной остался? Получилось — ты. Вот и пишу.

Запутался я, как муха в паутине. А паук тот, который опутал, — Дуйсенбай. Это он мне тогда топор дал, чтоб Айтбая-большевого прикончить. Я, дурак, и прикончил. А еще он заставлял меня басмачом быть. Я ведь тоже был там, в Турткуле, когда мать твою, Санем, Таджим рубанул. Я тогда в него пулю всадил, а то бы и Бибигуль в живых не осталась.

Думал, вернусь из Турткуля — начну новую жизнь. Не получается. Старая за ноги тянет. А я не хочу. Вот и вышло, что ни с теми, ни с другими. Это правильно очень ты в последний раз на собрании у нас в Мангите сказала: бессцельный — всем враг. В точности про меня.

Когда отказался Дуйсенбаю служить, он ко мне ночью человека подослал, тот чуть меня не прирезал. Теперь, с другой стороны, сегодня сказали, Ембергенов в ГПУ меня вызывает. Как в той сказке: сюда пойдешь -- в огонь попадешь, туда пойдешь — в воде смерть найдешь. Так я решил третьей дорогой идти — сам себя кончу.

А ты самая хорошая женщина. Ты прости, что я тогда с тобой так. Любил ведь тебя. Только и любить тоже, наверно, нужно учиться. Это я теперь так понимаю. Тогда не понимал.

Дочке правду про ее отца никогда не говори. Постарайся, чтоб счастливой она была.

Мало хорошего у меня в жизни было, так что и расставаться с ней не очень жалко.

Вот и все.

Твой муж Турумбет».

Джумагуль свернула письмо, спрятала под жакет.

— Важное что-то? — спросил Ембергенов.

Джумагуль не ответила. Она сидела, обхватив руками колени, и по взгляду ее, задумчивому, устремленному в одну далекую точку, Оракбай догадался, что досаждают ей вопросами сейчас ни к чему. Он вышел из юрты и вместе с Отамбетом, аксакалом кутымбаевского аула, стал седлать лошадей.

Со всех сторон к юрте Отамбета стекался народ. Бойкие женщины рассаживались вокруг Джумагуль, засыпали вопросами.

— Как же, говоришь, школа будет у нас, если учить некому. На весь аул ни одного, кто б грамоту знал!

— Пришлем!

— А не получится так — ты уедешь, Кутымбай земли свои обратно у нас отберет. А мы уж семена в них засеяли.

— Земля та теперь ваша навечно, никто у нас отобрать ее не может.

— Ты это Кутымбаю скажи.

— Я это вам говорю, — твердо произнесла Джумагуль. — Это вам Советская власть говорит!

— Вот хотела, сестра, спросить: молодежь, что в Турткуль и в Чимбай учиться поедет... не страшно? Не найдут на них по дороге? А то ведь бывало...

Трудный вопрос. Как на него ответить? Успокоить материнское сердце, солгать: да что ты, сестра! Нет больше тех проклятых бандитов — всех до одного переловили. Или правду сказать и, может быть, отпугнуть? Да, только правду.

— Сама знаешь, сестра: дорога в рай не через райские кущи проходит. Но у того, кто идет по этой дороге, есть надежда добраться. Кто не рискует ступить на нее, и надежды такой не имеет.

Мужчины ждали Джумагуль во дворе. И когда она появилась — снова вопросы: вот создали вчера на собра-

нии ТОЗ, батрачкама избрали, а кто наставлять их будет, как правильную линию вести? А в это время с другой стороны: если калым запрещен, как же теперь парня женить? Вопросы, вопросы, вопросы... Чему же тут удивляться? Человек новую юрту ставить решил, и то, пока соседей всех не опросит, ладить не станет. А тут не юрту — новую жизнь ставить надобно!

Джумагуль тронулась в путь после полудня. Ембергенов, который сегодня приехал и должен был остаться в ауле на несколько дней, вызвался ее проводить: на дорогах опасно, всякое может случиться, вдвоем веселей. Договорились, доедет с ней до канала и повернет. Дальше она поскачет одна.

По пути Ембергенов рассказывал:

— Недавно одного бандита допрашивал, говорит: раньше много басмаческих шаяк по пустыне ходило, у каждого курбани — своя. Теперь нукеров, говорит, мало осталось — кто бросил оружие, не хочет больше под зеленое знамя идти, а кто на вашу сторону потянулся. Со всем было рассыпалось воинство. Так нашелся, говорит, новый главарь, духовного сана, всех недобитков под своей властью объединил, самых отъявленных головорезов. Попался бы мне в руки тот служитель аллаха, я бы с ним потолковал о милости и милосердии.

Оракбай свесился с лошади, ловко сорвал на ходу красный тюльпан, протянул Джумагуль:

— Везде, где есть любви произрастанье,  
Там ветви — горе, а плоды — страданье.

Джумагуль взяла тюльпан, ни словом, ни взглядом не ответила Оракбаю.

— А помните, вы говорили — доброта, жестокость... Интересно, что бы сделали, попадись вам в руки убийца Айджан — дочери водовоза? Были бы с ним доброй и милосердной?.. Я — будь моя воля — приговорил бы его к повешению! Жестокость?

Джумагуль задумалась, ответила не сразу.

— Наверное, нет жестокости вообще, как и доброты вообще не существует. Жестокость бессмысленная — преступление. Но самая жестокая кара, если она для того, чтоб защитить справедливость она, — как бы это ска-



зать?— она уже не жестокость, а доброта, высшая доброта! И такая жестокая доброта человечна.

Ембергенов невесело усмехнулся, повернул разговор в нужное ему русло:

— А ваше отношение ко мне это какая жестокость — добрая или злая?

Он давно искал случая задать Джумагуль этот вопрос и сейчас ждал ответа, как ждут приговора. Джумагуль повернула к нему строгое, печальное лицо, сказала мягко, будто просила:

— Не нужно об этом, Оракбай.

— Год назад вы мне говорили: сейчас о<sup>т</sup> этом не нужно. Когда же?

— Никогда, Оракбай.

Оставшуюся часть пути они проехали молча. У канала, по-мужски протянув Ембергенову руку, Джумагуль сказала со слабой улыбкой:

— Возвращайтесь скорей. Без вас страшно. И скучно.

Миновав аул Шок Турангил, Джумагуль въехала в рощу. Узкая просека вилась меж густых зарослей джашгила и дикой джиды. Изломанные, ободранные арбами ветви турангила то и дело царапали сапоги, цеплялись за одежду, поровили стегануть неосторожного путника по лицу. Роща гудела от итичьего многоголосья. Прямо из-под копыт выскочил зазевавшийся фазан, всполонился, захлопал короткими крыльями. Сквозь густое сплетение ветвей косыми лучами пробивался дневной свет.

В первый момент Джумагуль не поняла даже, отчего зашевелились, разошлись в стороны ветви джиды. В следующую миг, перегородив ей дорогу, выехал всадник. Это было так неожиданно, что конь Джумагуль шарахнулся в сторону, встал на дыбы, чуть не сбросив наездницу.

— Узнаешь?— упиваясь растерянностью Джумагуль, спросил всадник.

Это был Зарипбай — те же цепкие, в глубоких глазницах, хищные щелки, тот же безгубый, будто ножом прорезанный, рот, та же складка на переносице, но усы поседели, и кожа на лице дряхлая, с желтизной, и подбородок почему-то все время дергается в сторону.

— Дайте проехать,— овладев собой, ровным голосом произнесла Джумагуль.

Зарипбай издал звук, одновременно похожий и на смех, и на канцель.

— Третий день тебя поджидаю, с дочкой родной хочу встретиться, а ты — дай проехать! Кто учил тебя так с отцом разговаривать?

— Что вам нужно?

Зарипбай тронул коня, подъехал поближе.

— Ну, вот что, — заговорил он серьезно, по-деловому, — голодранцы эти, что от рожденья до смерти моей милостью жили, вконец обнаглели: земли у меня отобрали, весь скот, все, что было. А такие, как ты, бумажку на гражданство не шипут. Ходил, унижался — оглохли, не слышат голоса Зарипбая... Мне бы, конечно, на гражданство ваше — сама понимаешь! — да без него житья не дают. Так вот. Подумал я, с людьми посоветовался, похоже, нашел-таки путь — педаром же до двенадцати лет растил тебя на ладони. Дочь, она всегда дочерью и останется. Одна кровь. Разве может она родного отца дать в обиду? Скажешь слово — и спасительницей моей станешь: земли вернут, все вернут. Ну, и бумажку эту пусть там про меня напишут... Сделаешь — сниму с тебя отцовское проклятье, сам за тебя молиться стану. — Зарипбай прижал руку к сердцу, головой чуть не коснулся гривы.

Злобное, мстительное чувство овладело Джумагуль — и этот человек, который загубил ее детство, изуродовал жизнь, этот человек смеет называть себя отцом, говорить о кровном родстве, взывать к доброте дочернего сердца!

— Земли, скот, все богатства, которые у вас голодранцы забрали, у голодранцев и просите обратно — может, сжалятся, отдадут. А что до гражданства — какой же вы гражданин Советской республики? Вы — враг.

— Я на своей земле живу, и неверцам не продавался, — грозно плянул на Джумагуль Зарипбай.

— Земля наша — нашей, каракалпакской, землей и осталась, а неверцы не те, кто свободу помог нам завоевать, — вы! Вот кто и по вере, и по крови чужой!

Больше говорить с этим человеком не о чем.

— Уйдите с дороги! — тронула Джумагуль коня.

— Хотел добром... — будто сожалея о таком повороте беседы, произнес Зарипбай, пригнулся, рванул из-под колена обрез. Но Джумагуль оказалась ловчее — одним быстрым движением выхватила пистолет, взвела курок:

— Бросьте!

Зарипбай побледнел. И не столько даже от страха —

не верил он, что женщина, дочь, может пустить в него пулю. Нет, его душила лютая, свирепая ненависть.

— Я тебя... с-сука!.. в могилу!.. — по-змеиному шипел Зарипбай, вскидывая дрожащими руками обрез.

Выстрел, гроыхнувший над ухом, словно протрезвил Зарипбая. Он застыл, нугливо втянул голову в плечи, зашлопился обрезом.

— Бросьте ружье! — жестко повторила Джумагуль, не спуская пальца с курка. — Ну!.. Буду стрелять!

Он не бросил — он просто разжал пальцы, и ружье свалилось к ногам жеребца.

— Езжайте!

С молчаливой покорностью Зарипбай развернул коня, тихим шагом поехал по просеке, оглянувся, оскалил мелкие хищные зубы, пустил жеребца вскачь. Когда топот копыт отдалился, Джумагуль спустилась с седла, подняла обрез, долго разглядывала его грустным, затуманенным взглядом. Сама не заметила, как, сорвавшись с ресниц по щеке поползла слеза...

## 30

Бывает же так: спишь, сладкий сон видишь и вдруг, словно кто тебя в сердце толкнул. Откроешь глаза — никого, все тихо, спокойно. А сон пропал, и в душе — смутная тревога.

Александр сел на постели, оглядел темную юрту. Из угла доносился мерный храп Гульбике. Турумбета не слышно. Александр поднялся, на ощупь нашел курпачу, где лежал Турумбет. Пусто.

Накинув на плечи халат, Александр вышел из юрты, постоял, чутко вслушиваясь в тихое дыхание ночи. Издалека, едва различимо, доносился плач младенца, где-то протяжно выла собака. Александр хотел было вернуться, как вдруг под навесом грохнуло что-то тяжелое, заржал жеребец. Прихватив валявшийся посреди двора пестик, Александр шагнул под навес, в темноте обо что-то споткнулся и, вытянув руки, ухватился за длинный раскачивающийся предмет.

В следующее мгновение он вытащил из ножен на поясе Турумбета кинжал, полоснул по вожжам,

Еще минута, и сердце Турумбета остановилось бы навсегда.

Всю ночь просидел Александр над постелью Турумбета, утром сказали

— Ну, с воскресением!

Турумбет покачал головой.

— Еще не сейчас... не воскрес еще,— и добавил с ожесточением:— Но теперь воскресну!

Тем же утром, нетерпеливо подстегивая коня, он скакал по чимбайскому тракту. Да, в назначенный час он явится в пещеру у подножия горы Кухсана. И не один...

День начинался обычно — отвела Тазагуль в детский сад, зашла по дороге в школу, ровно в десять была в своем кабинете. Разложила бумаги, приготовилась что-то писать, да вместо того погрузилась в раздумье. Вот и совершила она хадж в свою молодость — побывала в Мангите, съездила на Еркин-Дарью, с отцом повстречалась, с мужем простилась. Такое чувство, словно на перевале стоит. Куда дальше ее дорога пойдет — вверх или вниз? Что внизу, она знает: глубокая пропасть, коленчатая, и есть у той пропасти целых четыре дна. Так, кажется, поучала когда-то всезнающая тетя Айша? Туда Джумагуль не пойдет, ничто ее туда не затянет!.. А вверху? Что там ее ждет?.. На этот вопрос даже вещунья Айша не ответит. Нужно идти, нужно взбираться...

Скрипнула дверь. Джумагуль вскинула голову, и тут же опустила опять... Она ждала этой встречи, знала — не миновать, но все не решалась, откладывала.

На пороге стоял Альджан-водовоз.

Последний раз она видела их, его и жену, в день похорон. Потом поездка в Мангит, Еркин-Дарья, потом... Да нет — зачем же лгать себе самой? Она избегала, она этой встречи просто боялась. И вот Альджан здесь. Что он ей скажет сейчас, какие обвинения бросит в лицо? Скажет: это ты повинна в смерти единственной дочери, если б не ты...

Альджан подходит к столу, говорит затрудненно:

— Ты бы зашла... убивается, плачет... Дочери не вернет, себя загубит совсем, Если б обратно в артель, пусть бы с людьми...

— Я зайду, я непременно зайду! — торопится заверить его Джумагуль. — Я сегодня...

Он постоял над столом еще минуту-другую, потушившись, произнес:

— Ты не думай — на тебя зла не держим. Вины твоей никакой — добра ей желала.

Джумагуль схватила водовоза за руки:

— Спасибо!

— За что спасибо? — горестно вздохнул Альджап, безнадежно махнул рукой, пошел к двери.

И тут же вихрем ворвалась в кабинет Кызларгуль:

— Ведут! Ведут! Всех поймали! Гляди!

Она потянула Джумагуль к окну, сама стала рядом.

По улице в кольце конвоиров шли басмачи — отряд ишана Касыма. Впереди выступал сам ишан в легком белом халате и белой чалме, словно покойник, вышедший из могилы в саване. За ним следовал Джуманияз-палван. Замыкали это похоронное шествие три старческие фигуры: Заринбай, бросавший по сторонам злобные взгляды, Дуйсенбай, равнодушно-опустошенный, вялый, будто вышотрошенный, и Кутымбай, беспомощно повисший на руках конвоиров.

— Ты посмотри, и тот бай, и другой, и третий, а разные какие! — воскликнула жена Коразбекова.

Джумагуль усмехнулась:

— Белая собака, черная собака — все равно собака.

Вслед за пленными двигалась группа вооруженных всадников: Ембергенов, Коразбеков, Туребай — аксакал аула Маугит, Александр, по прозвищу Мэтэсэ... И вдруг Джумагуль показалось... нет, не показалось — сейчас, когда группа приблизилась, она хорошо разглядела — среди всадников, с белой повязкой на голове, ехал Турумбет! Живой Турумбет!

Джумагуль закрыла окно, вернулась к столу: ее ждали дела, ждали люди...

*Конец второй книги,*



51 κ.

